

## 〈№ 8. — Август 1859 года.〉

Неосновательность упреков, делаемых императору французов за Виллафранкский мир. — Речь императора в Сен-Клу. — Негодование во Франции и Италии. — Напрасные надежды итальянских патриотов. — Урок для либералов.

В государствах, имеющих судопроизводство с адвокатами, когда дело какого-нибудь господина, подлежащее судебному решению, слишком неблагоприятно, ни один адвокат не соглашается защищать его; но «никто не должен оставаться без защитника», — потому назначается в этих случаях самим президентом суда *defenseur d'office* \*, «защитник по предписанию». Ни он сам, ни один человек из публики не надеется, чтобы его старания увенчались оправданием обвиняемого, но все-таки он усердно исполняет свою неблагодарную обязанность, и общество тем выше чтит его самоотверженные труды, чем очевиднее их напрасность.

На какое же глубокое уважение имеем право рассчитывать мы, добровольно, без всякого приказания, даже наперекор многочисленным предостережениям холодных, благоразумных людей, взявшие на себя обязанность быть постоянным *defenseur d'office* всех дел, единогласно признающих не имеющими извинения! Сколько нам помнится, примеров такого гражданского геройства не видел мир с той поры, когда г. Греч защищал г. Булгарина против Пушкина, злонамеренно отрицавшего правдивое уверение г. Булгарина, что лучшие места в «Евгении Онегине» заимствованы из «Ивана Выжигина». Но и сам г. Греч только однажды в свою долголетнюю жизнь отважился совершить такой подвиг, да и то больше по дружбе; а мы в течение какого-нибудь полугода совершили их уже десятки. Кого и чего только не защищали мы из безвозвратно всеми осуждавшихся лиц и дел! Мы защищали [Фердинанда, короля неаполитанского, Пфортена, министра баварского], повара, поселяющего раздоры между мужем и женою за обеденным столом, и, наконец, — что требовало наи-

---

\* Защитник по назначению. — *Ред.*

большей дозы мужества, — защищали австрийцев *in natura* \*, целиком, гуртом, без всякой очистки и исключений, [со всеми возможными Гиулаями, Урбанами и, что еще хуже, Буолями и Шварценбергами, и, что хуже всего, даже с лицами вреднейшими Буолей и Шварценбергов].

Зная такое наше самоотверженное геройствование, читатель предугадывает, что теперь мы должны покинуть на время всех этих мелких клиентов, чтобы посвятить все наши способности защите лица, далеко превосходящего их всех вместе влиянием на ход событий в так называемом цивилизованном мире. Все просвещенное человечество жестоко порицает теперь императора французов за мир, заключенный с австрийцами будто бы слишком преждевременно и будто бы не оправдывающий надежд, не соответствующий целям, для которых была начата война. В прошедший раз мы лишь слегка коснулись этого предмета и, к сожалению, сами выразили некоторое недовольство... Что делать? — все люди, все могут заблуждаться; но сознанием ошибки искупается половина ее, а другая половина ее может быть легко нам извинена в том соображении, что и сам император французов на первый раз был смущен всеобщностью возбужденного им недовольствия. Возвращаясь из Италии, он не хотел въезжать в Париж: он знал, какой холодный прием найдет он в своей столице, — он укрылся от публики в Сен-Клу, и речь, произнесенная им в ответ на поздравления «великих государственных корпораций», лишена самодовольства, которым отличались все прежние речи его; он оправдывается, он извиняется. «Я прекратил войну, — говорит он, — потому что она становилась слишком затруднительна. Приходилось осаждать Мантую и Верону, это — предприятие трудное; но трудность предприятия не поколебала бы моей решимости и не остановила бы стремления моей армии (продолжает император французов), если бы средства не были непропорциональны с результатами, которых предстояло достичь. Надобно было решиться отважно разрушить препятствия, противопоставлявшие нейтральными территориями, и в таком случае принять войну не на одном Адидже, но и на Рейне. Надобно было повсюду открыто подкрепляться пособием революции. Итак, я остановился не по утомлению или изнурению и не потому, чтобы покинул благородное дело, которому хотел служить, но потому, что в моем сердце говорило нечто еще высшее: интерес Франции. Скажите, разве не тяжело было мне удерживать пылкость солдат, экзальтированных победою, сильнейшим желанием которых было — идти вперед? Скажите, разве не тяжело было мне формально, перед лицом Европы выпустить из моей программы территорию, лежащую между Минчио и Адриатическим морем? Скажите, разве не тяжело было мне видеть,

\* Нагишом, в натуральном виде. — Ред.

что разрушаются в честных сердцах благородные иллюзии, исчезают патриотические надежды? Служа делу итальянской независимости, я вел войну против желания Европы; но едва настала минута, когда судьбы моей страны могли быть в опасности, я заключил мир».

Читатель, привыкший к дипломатической манере, легко переведет эти фразы на обыкновенный язык. «Средства были непропорциональны с результатом» — это значит: «я увидел, что не в силах исполнить своего обещания». «Надобно было принять войну не на одном Адидже, но и на Рейне» — это значит: против Франции составлялась коалиция, то есть исполнялось предсказание орлеанистов-республиканцев, высказавших еще до начала войны через *Journal des Débats* и через Жюля Фавра, что Европа восстанет против Франции и императорская Франция должна будет отступить перед коалицией. «Я остановился не по изнурению и не потому, чтобы покинул благородное дело, которому хотел служить» — это значит: «я не могу не сознаться, что почти все думают иначе». «Хотел служить» — эта фраза доказывает невозможность просто сказать «служил», то есть сам император французов не отважился сказать, что действительно оказал услуги делу итальянской независимости. «Разве не тяжело было мне удерживать пылкость солдат» и т. д. — это признание в том, что армия была недовольна миром. «Разве не тяжело было мне перед лицом Европы выпустить из моей программы территорию, лежащую между Минчио и Адриатическим морем?» — это значит: «Вся Европа говорит, что Италия [обманута] мною». Какое же извинение представляется всему этому? «Судьбы моей страны могли быть в опасности» — это значит: «Франция подверглась бы вторжению иностранцев; то есть сам император французов опять подтверждает мысль Жюля Фавра, что императорская Франция была бессильна перед опасностями, сопряженными с итальянскою войною».

«Скажите, разве не тяжело мне было?» — три раза повторяет Луи-Наполеон в порыве чувства. Действительно, тяжело было ему, до сих пор говорившему только о своей безошибочности и полном достижении своих целей, сознаваться в том, что он принужден был отступить, что Европа видела его отказывающимся от своей программы; еще тяжелее было признаваться, что в армии пробуждено недовольство; еще затруднительнее была необходимость говорить народу, столь гордому своею силою, как французы, что они должны бояться иностранного вторжения. Неловкость таких признаний и вразумлений очевидна; что же могло заставить императора французов говорить вещи, столь невыгодные для него самого?

Ответ один: негодование, овладевшее Францией. Италией и всею Европою при известии об условиях Виллафранкского мира, было так сильно, что даже Наполеон III смутился и в смущении

хватался за всякие мысли, которые могли быть представлены в извинение миру, не разбирая того, как действуют эти мысли на гордость французской нации. Конечно, он не предвидел, что негодование будет так сильно; заключая мир, он надеялся, что ему можно будет говорить: «Виллафранкский трактат освободил Италию», и объяснить свою предшествовавшую войне прокламацию в том самом смысле, какой мы при самом ее появлении читали в ней между строк, наполненных сильными обещаниями (см. «Современник», № V) \*, так, чтобы она представлялась совершенно и даже с излишком выполненною условиями мира. Но неразумные люди, не умеющие, подобно нам, пгнмать красот дипломатического языка, имели неосторожность принять в буквальном смысле фразу прокламации: «Италия должна быть свободна от Альп до Адриатического моря», и даже имели безумство забыть из-за этой одной фразы обо всем остальном содержании прокламации; потом, когда фраза эта не исполнилась по условиям мира в грубом материальном смысле, какой они ей придавали, они подняли с нею такой крик, которого ничем невозможно было заглушить: «Италия должна была освободиться до Адриатического моря! Вы сами это говорили! До Адриатического моря, припомните ваши обещания! Они не сдержаны!» и т. д. Вот этот оглушительный крик незнакомых с дипломатическим языком людей, нелепо вообразивших себя обманутыми, — вот он-то и смутил Луи-Наполеона, не ждавшего такой неблагодарности. В смущении он, как мы видели, думал лишь о том, как бы набрать побольше извинений, [и набрал даже таких, которые очень неблаговидны на французский взгляд]. Но слова, произносимые человеком смущенным, не всегда могут быть вполне удачны, и мы принимаем речь императора французов только как свидетельство о состоянии духа, в которое повергнут был он неудовольствием нерассудительных людей, а вовсе не как изложение фактов, выдерживающее поверку. Действительно, Луи-Наполеон в своем расстроенном расположении духа сказал много такого, чего сам не захотел бы признать, не только сказать в спокойном состоянии души. Мы попробуем исправить эти ошибки, отстранение которых нужно для исполнения задачи, взятой нами на себя, — для оправдания императора французов, неосновательно осуждаемого теперь людьми, одобрявшими его за три или четыре месяца перед тем. Когда обвиняемый скажет по неосторожности или взволнованности что-нибудь невыгодное для самого себя, обязанность адвоката требует доказать судьям, что этих слов не должно слушать, не должно основывать на них никаких заключений к невыгоде обвиняемого, потому что он ошибся, говоря их. Так объяснены поступить и мы.

Война становилась трудна, говорит Наполеон III: «мне при-

\* См. в этом томе стр. 188. — *Ред.*

ходилось атаковать с фронта неприятеля, ставшего в окопах, за великими крепостями, защищенного от всякой диверсии с флангов нейтральностью территорий, окружавших его; и начиная долгую и бесплодную войну осад, я находил перед собою вооруженную Европу, готовую оспаривать наши успехи или усугублять наши неудачи». Далее опять: «надобно было решиться от-важно разрушить препятствия, противопоставлявшиеся нейтральными территориями, и в таком случае принять войну не на одном Адиддже, но и на Рейне».

Адвокат не может оставить судей в неблагоприятном для обвиняемого заблуждении, производимом этими словами. В них больше неосторожной заботливости о многочисленности извинений, нежели хладнокровной обдуманности.

«Атаковать с фронта неприятеля, защищенного от всякой диверсии с флангов»; если бы и так, остается кроме флангов еще тыл, ровно ничем не защищенный; и мы говорили в прошедший раз, что уже готовилась высадка на венецианском берегу для атаки с тыла. Это редкое счастье давало полководцам возможность занять его, а Наполеон III имел полную свободу пользоваться им. Да и выражение «с флангов» опять неточно: с правого своего фланга австрийцы были действительно защищены тем, что нужно было бы тут проходить через их области, принадлежащие к Немецкому союзу, который мог обидеться этим; но с левого, горного фланга чем они были защищены? Нейтральностью папских владений? Неужели Европа серьезно увидела бы нечто особенное в проходе французских войск по этим землям, по которым с полною свободою расхаживали австрийцы во время войны? Область, открытая войскам одного из противников, открыта и войскам другого, — сердиться на это никто не может. Притом, разве и французы уже давным-давно не занимали войсками папских владений? Итак, о нейтральности этих земель нечего говорить: она не служила препятствием. Таким образом, неприятель защищен был только с одного фланга, а не «с флангов»; нападать на него можно было не с одного фронта, а с фронта, с левого фланга и с тыла — какое великолепное положение для атакующего! Ни одному из великих полководцев нового времени не давалась такая громадная выгода, достававшаяся Наполеону III. До тех пор союзники теснили неприятеля только с фронта; теперь могли теснить его с трех сторон. В этом отношении война становилась для них не труднее, а гораздо легче прежнего.

«Приходилось атаковать неприятеля, ставшего за великими крепостями, — начинать долгую и бесплодную войну осад». В-первых, заметим повторение прежней неточности в употреблении единственного и множественного чисел: «войну осад» (*guerre de sièges*), «за великими крепостями». Мы уже говорили в прошлый раз, что действительную важность представляла только одна

осада только одной крепости — Вероны. Пескьера и Леньяно вовсе не важны и лишились всякой силы, будучи уже отрезаны одна от другой и от Мантуи, а Мантую не было надобности ни брать, ни осаждать: довольно было блокировать отдельным обсервационным корпусом это болотное логовище, выйти из которого так же трудно, как и войти в него. Итак, надобно было говорить не об «осадах», а об «осаде», не о «крепостях», а о «крепости». Пусть бы только числа смешивались; но имена прилагательные также навлекают на себя упрек за неправильность: «мне следовало начинать долгую и бесплодную войну осад». Почему же «долгую» и «бесплодную» (*stérile*)? Мы видели в прошлый раз, что осада Вероны (об остальных трех крепостях не станем говорить) не могла быть продолжительна: каким образом укрепления, рассчитанные для обороны против слабого действия прежних орудий, могли бы долго противиться страшным нарезным пушкам, которые в осаде, в разрушении стен находят самое бластательное употребление себе? Они стреляли бы с таких дистанций, до которых не берет крепостная артиллерия, и она должна была бы молчать, стены являлись бы все равно, что лишенными орудий; нарезные батареи стреляли бы по этим безответным стенам с пунктов, господствующих над крепостью, — как же тут могла быть осада «долгою»? На каком основании она могла быть «бесплодна», — это уж решительно непонятно. Быстрое отнятие у неприятеля пунктов, на которых опирается его стратегическое значение в Италии, конечно, было бы действие не бесплодное, а самое богатое последствиями, в тысячу раз более важное, нежели все победы при Мадженте и Сольферино.

Но пусть осада Вероны была бы «долга» и «бесплодна», — неужели полководец, выказавший умение пользоваться новыми идеями науки, мог не знать, что со времен его дяди крепости перестали считаться неизбежными остановками на пути армии, победившей в открытом поле? Ныне крепость осаждают только тогда, если не хотят заняться ничем иным, кроме ее осады; а если армия имеет какое-нибудь другое назначение, она идет мимо крепости, оставляя только корпус для наблюдения за нею.

«Я находил перед собою вооруженную Европу»; далее: «надобно было принять войну не на одном Адидже, но и на Рейне». «Европу», — но разве вся Европа готовилась воевать с Францией? Россия была далека от этой мысли [и сочувствовала скорее Франции, нежели Австрии]. Англия действительно вооружалась; но каждому известно, что она думала только о собственной защите и никогда не хотела вмешиваться в войну, если не принудит ее к тому сама Франция. Нынешнее министерство было очень далеко от сочувствия австрийцам. Первым делом его было приостановить вооружения, производившиеся торийским министерством; не только само оно не хотело вступаться за Австрию, оно сильнейшим образом советовало и Пруссии не ввязываться в это



дело. И так, вместо громкого слова «Европа» надобно поставить только «Германия». Германия действительно вооружалась. Но, в-первых, что было причиною вооружений, предназначавшихся ею против Франции? Никак не собственная охота, а только распоряжения самого императора французов. Зачем он первый составил «восточную армию», явно угрожавшую Германии? Зачем он, назначив командиром этой армии знаменитейшего из французских генералов, маршала Пелиссье, заставил Германию и всю Европу думать, что войну в Италии хочет сделать только предлогом, началом, диверсиею для войны на Рейне? Если Германия вооружалась, это было только ответом на произвольные угрозы самой Франции. Но все равно, кем бы ни была принуждена Германия к вооружениям. Известно, что Германия без Пруссии ровно ничего не значит, а Пруссия до последней минуты вовсе не имела охоты помогать австрийцам. Даже в то время, когда ее предполагаемое вмешательство послужило императору французов предлогом к заключению мира, она предлагала Австрии помириться с Франциею на условиях, гораздо более выгодных для Италии, нежели каковы условия, составленные самим императором французов. По всему было очевидно, что Пруссия вооружается против собственной воли, принуждаемая к тому только желаниями мелких юго-западных немецких государств, что вооружения служат только маскою для их успокоения, что она решилась до последней крайности удерживаться от войны, а если бы когда (когда, — еще не было и видно, так далеко была возможность войны) и начала ее, то без всякого усердия, только для формы, вроде того, как в 1812 году она и Австрия вели войну против России, или Россия в 1809 году против Австрии. Такие враги, выставляющие войско только для формы, а в душе нисколько не желающие помогать своему мнимому союзнику, которого ненавидят, поражения которому желают, вовсе не опасны. Но все равно, — положим, что Германия начала бы воевать серьезно, а не только для соблюдения формы. Ее вооружения в начале июля были еще так неполны, что она могла начать войну не раньше как через несколько месяцев. Чего нельзя было сделать в эти месяцы! Можно было не только взять целый десяток Верон, можно было взять самую Вену, — и если действительно грозила война на Рейне, то уже никак не одновременно с войною на Адидже. Австрийцы были бы давно прогнаны далеко за Тальяменто, пожалуй, за Дунай к тому времени, как немцы собрались бы воевать на Рейне. Но пусть успехи против австрийцев были бы и не так быстры, как следовало ожидать, а немцы начали бы войну раньше, чем казалось вероятным, пусть бы даже и не взята была Верона, все-таки Франции уже не было надобности бороться в одно время против двух врагов: если бы открылась война на Рейне, она могла передвинуть туда все свои силы, предоставив Адидже и Верону одним итальянцам. В самом деле, если итальянцы в апреле

Были слишком слабы, чтобы устоять против австрийцев, в августе они легко могли считать у себя больше сил, нежели у врагов, если бы им хотя только за две, за три недели дано было от союзника позволение развивать свои силы беспрепятственно. Сардинская армия имела 100.000; Ломбардия давала ей, по крайней мере, 50.000; Тоскана имела 20.000 и хотела иметь более 30.000; Гарибальди требовал только ружей, чтобы иметь столько же, если не больше; Парма и Модена давали 10.000; легатства имели 20.000, — итого 240.000 человек чисто итальянского войска было наготове. Австрийцы не могли иметь в Италии больше, и, как мы говорили в прошлый раз, уже приближалось время, когда с каждым днем тысячи из этих солдат должны были уходить из-под австрийских знамен под свои родные, венгерские или славянские знамена, враждебные австрийцам. А итальянские силы быстро увеличивались бы, росли бы с каждым днем. Итак, вопрос разрешался очень легко; если нужны Франции войска на Рейне, она выводит все свои войска из Италии, — итальянцы и одни уже могли выдерживать борьбу с австрийцами на первый месяц, на второй были сильнее их, а на третий австрийская армия в Италии исчезала!..

К чему же говорить о необходимости французам выдерживать войну на Адидже и Рейне, когда они могли спокойно оставить Италию защите самих итальянцев и сосредоточить свои силы исключительно на Рейне? Зачем же было пугаться войны с Германиею, если бы даже эта война в самом деле была близка, — чего еще не было, — и серьезна, — чего никак не следовало предполагать? Неужели Франция не в силах защитить свои границы от немцев? Это что-то неслыханное. Неужели Ганновер и Бавария могут завоевать Францию? Ганновер и Бавария, говорим мы, потому что Пруссия, даже в случае начатия войны, никак не хотела вести войну наступательную. Зачем обманывать себя страшными призраками? Разве не было известно, какой характер должна была иметь война на Рейне по непременному плану Пруссии (если только Пруссия не успела бы удержать Германию от войны)? Немецкий союз выставлял бы армию для защиты Рейна, и только всего; если бы французы не захотели нападать, армия эта не тронула бы их волоском. Какая же «опасность» грозила «судьбам Франции», какая «несоразмерность» могла существовать «между ее средствами и результатами», стремление к которому было провозглашено при начале войны?

Мы были обязаны рассеять неблагоприятный для императора французов взгляд на положение дел, предшествовавшее миру, и для достижения этой цели должны были обнаружить неточности, находившиеся в его речи. Теперь читатель знает, что продолжение войны не угрожало ровно никакими опасностями для «судеб Франции», стало быть, не существовало и причины, которую извинялось бы согласие императора на неудовлетворитель-



ные условия; а из этого надобно заключить, что условия мира были очень удовлетворительны — иначе он не согласился бы на них. Именно так и говорит президент законодательного корпуса, Морни. Послушайте, какую славою покрывает императора французов этот мир:

«Государь,

«В три месяца сколько чудес!

«Когда война была объявлена, мы не имели ни одного солдата в Италии. Австрия там обладала многочисленной армией в страшных позициях, давя ею изученных. Ее притязательное влияние тяготело над всеми итальянскими правительствами. Через несколько дней пять побед, непрерывно следовавших одна за другою, прибавили славнейшую страницу к нашей военной истории, и политическая цель, вами предположенная, была достигнута.

«Но прекраснейшая из всех побед — та, которую вы одержали над самим собою. В упоении торжества вы явились неприятелем столь же великодушным, сколь верным и бескорыстным союзником; окруженный победоносными и воспламененными солдатами, вы думали только о сохранении драгоценной их крови. Вы возвратили Италии истинную свободу, освободив ее от деспотизма и воспретив ей революционные пути.

«Я знаю, государь, что, выражая эти чувства, я служу органом законодательного корпуса».

Вот человек, понимающий, что и как надобно говорить. Мы охотно отдаем его взгляду на характер мира предпочтение перед понятием самого Наполеона. «Политическая цель, вами предположенная, государь, достигнута», — говорит он. Да, вполне достигнута. В самом деле, что было целью войны? Освобождение Италии. Ну-с, Италия теперь получила свободу, по словам того же Морни, — даже нечто лучшее, нежели просто свободу: она получила «истинную свободу». Прекрасно, мы этому вполне верим и очень рады.

Без всякого сомнения, сам император французов, когда успокоится от первоначального смущения, увидит, что он заблуждался, признаваясь, будто изменил своей программе и не освободил Италии, и что Морни был совершенно прав, называя его основателем «истинной свободы» в Италии. Трудно не согласиться с Морни, — так правдивы все его слова. Особенно удачно выражение: «вы явили себя верным союзником». Правда, мир с Австриею был заключен отдельно, без участия Сардинии, без воли или, лучше, против воли сардинского короля и его министра, — но что ж за важность? Неужели, в самом деле, император французов обязан церемониться с таким небольшим государством, как Сардиния?

Ободряемые мужественными словами Морни, — «мужественными», говорим мы, потому что нужен совершенно особенный, так сказать, спартанский закал души для изречения раздраженной Европе столь упорно отвергаемых ею истин о характере Виллафранкского мира, — ободряемые мужественным примером Морни, столь известного непоколебимою приверженностью к правде, мы

осмелимся изложить теперь читателю без всякой утайки наш взгляд на характер последней войны и связанных с нею событий. До сих пор мы высказывали его только наполовину, боясь слишком раздражить людей с «благородными иллюзиями», по выражению императора французов. Теперь, под щитом благородного Морни, мы становимся отважнее. Надеемся, что читатель, если согласится с этим взглядом, перестанет винить императора французов и признается, что он не мог действовать иначе, нежели как действовал.

Ныне очень много говорят о национальностях<sup>1</sup>. Но как ни сильны симпатии и антипатии, возникающие из них, еще сильнее чувства, внушаемые каждому его личными выгодами и потребностями. По выгодам все европейское общество разделено на две половины: одна живет чужим трудом, другая — своим собственным; первая благоденствует, вторая терпит нужду. [Интерес первой в том, чтобы сохранить нынешнее положение вещей, по которому большая часть из плодов народного труда достается в руки ее немногочисленных членов. Интерес второй половины общества, считающей в себе повсюду более девяноста человек из ста, состоит в том, чтобы изменилось нынешнее положение и трудящийся человек пользовался всеми плодами своего труда, а не видел их достающимися в чужие руки.]. Это разделение общества, основанное на материальных интересах, отражается и в политической деятельности. Есть люди, в которых умственное и нравственное развитие достигает такой силы, что вид несправедливости и беззакония мучит их; они желают преобразований, но потребность эта, ощущаемая и массою народа, — только в материальном применении к вопросу о распределении продуктов труда и средств к производительному труду (земля, капитал), сознается ими в размере более обширном. Они находят, что для поддержки справедливых отношений по имуществу нужны разные гарантии в гражданских правах. Само собою разумеется, что сами по себе такие люди не очень сильны: их мало; но они желают того, что нужно для благосостояния массы, и, естественно, стараются опереться на нее, растолковать ей, каким образом может она приобрести то, чего ищет. Но реформы, нужные для массы, противны выгодам людей, благосостояние которых связано с нынешним порядком вещей. Они понимают, что поддержать его можно только отнятием у реформаторов возможности действовать на массу. [Это достигается двумя путями: стеснительными мерами, прямо пресекающими сношения реформаторов с массою, и поддерживанием в массе разных теоретических мнений, брошенных реформаторами]. Таким образом, консерваторы принуждены обращаться в реакционеров и обскурантов, чтобы охранить свои выгоды от гибельного для них союза реформаторов с массою. При таком положении дел реформаторы, смотря по различию темпераментов, привязанности к своим идеям и проницательности, разделяются

на две партии. Одни, видя, что горсть людей, пользующихся нынешним положением вещей, задерживает все их усилия и сама имеет силу управлять общественными делами, как ей угодно, думают, что надобно убедить этих людей действовать иначе и содействовать тем целям, какие имеют в виду они, реформаторы. К этому разряду в обыкновенные времена принадлежит огромное большинство реформаторов. Другие находят, что красноречие и правда бессильны над человеком, когда противны его выгодам, и потому объявляют, что никакими доводами нельзя людей, находящихся свою выгоду в реакции и обскурантизме, обратить в друзей прогресса, и что прогрессисты должны стоять к таким людям в одном неизменном отношении — в отношении непримиримой вражды; это — революционеры. Реформаторы, надеющиеся обратить реакционеров в прогрессистов, думают, что именно только вражда революционеров, а не инстинкт собственных выгод восстанавливает реакционеров против реформ, и зато преследуют революционеров, как людей, вредных делу реформы. Этих реформаторов, проповедующих вражду против революционеров, назовем хоть модерантистами, по выражению конца XVIII века.

Читатель, вероятно, будет так деликатен, что не станет спрашивать, какая из этих трех партий более нравится нам, а если бы он стал требовать ответа на такой вопрос, мы были бы поставлены в самое щекотливое положение, потому что ответ наш очень компрометировал бы нашу репутацию «в настоящее время, когда»... В настоящее время, когда каждый стыдится называть себя человеком нелиберальным, врагом реформы и прогресса, мы принуждены были бы сказать, что всего выгоднее нам с вами обоим, читатель, примкнуть к партии реакционеров и обскурантов: они — люди самые надежные и основательные. Да и какое мне дело до пользы других? Было бы мне тепло, а чужой голод не ощущается моим желудком. Что же касается так называемых высших стремлений и благородных, бескорыстных потребностей, — самое верное дело: не верить серьезности их ни в других, ни в самом себе, а смотреть на них, как на праздную игру в слова, бросаемую при первом столкновении с положительными личными выгодами!

А впрочем, как хотите. Бывают на свете люди, служащие исключением из общего правила, — люди, которым чужое горе щемит сердце так же мучительно, как свое личное горе; люди, которые не могут чувствовать себя счастливыми, когда знают, что другие несчастны. Быть может, вы из таких людей; ну, тогда поступайте, как велит вам ваша честная натура. Но, во всяком случае, не забывайте одного: одной честности мало для того, чтобы быть правым и полезным; нужна также последовательность в идеях. — Если вы приняли принцип, не отступайте перед его последствиями; нужна прежде всего рассудительность во взгляде на стремления других, иначе вас обманут и употребят орудием на

совершение самых нечистых дел, хотя бы вы были чистейшим человеком. Эта рассудительность первым своим правилом ставит: слов не слушай, а смотри на дела и на то, в чем состоят потребности человека, и вверяйся только тому, который смотрит на мир такими же глазами, как ты, только тому, у которого потребности одинаковы с твоими. Доверчивость [к обманщикам] чаще всего губила доброе дело.

Но все это отступление, как мы теперь замечаем, совершенно лишнее. Кому нужно наше мнение? Мы обязаны только излагать факты, предоставляя читателю самому судить о фактах, как ему угодно.

Итак, мы сказали, что по всему матерiku Западной Европы общество в тесном смысле слова — сословия, участвующие до некоторой степени в просвещении и благосостоянии, — распадается на три партии: реакционеров, модерантистов и революционеров. Каждый примыкает к той или другой партии, смотря по своим личным потребностям; таким образом, связь по принадлежности к одной и той же партии гораздо крепче, нежели связь по национальности, а вражда по различию партий — выше недоверия, внушаемого иноземцами. По всему матерiku Западной Европы реакционеры составляют нечто вроде старинного Мальтийского ордена, в котором были люди всех национальностей и все стояли друг за друга, и все стояли за свой орден. Точно то же и модерантисты, и революционеры. Кавур, например, бывший представителем итальянских модерантистов, возбуждал в сердце каждого французского модерантиста (например, орлеаниста) гораздо больше симпатии, нежели француз-реакционер, и случись, например, столкновение между Кавуром и Морни (реакционером), каждый орлеанист пожелал бы победы Кавуру и стал бы помогать ей всеми средствами, какие может принять. Наоборот, Кавур и Маццини были друг от друга гораздо дальше, нежели, например, Кавур от французских орлеанистов или Маццини от французских революционеров<sup>2</sup>.

Партии, мы сказали, три. Но борьба требует только двух лагерей: собственно борьбу ведут между собою только две из трех партий, более сильные, а третья должна примыкать к одной из них на то время, пока они вместе одолеют третью, чтобы уже потом разделаться между собою. Из шести возможных тут сочетаний каждое случилось в действительности. Например, легитимисты (реакционеры) во Франции при Луи-Филиппе поддерживали республиканцев; в первой половине 1848 года они поддерживали партию умеренных против ультра-республиканцев. Модерантисты (орлеанисты) поддерживали во Франции в 1849 году реакционеров (бонапартистов), а теперь поддерживают революционеров. Революционеры в Испании при Наполеоне поддерживали реакционеров в борьбе против «офранцузившихся» (atrancesados) или умеренных прогрессистов; теперь в Бельгии

(где, впрочем, революционеры очень малочисленны, благодаря тому обстоятельству, что король Леопольд — человек и честный, и вместе с тем умный) они поддерживают конституционалистов.

Какие из этих многочисленных сочетаний между разнородными партиями могут быть названы соответствующими логике идей, какие союзы могут не иметь своим следствием раскаяния? Пока остаешься в сфере отвлеченных идей, вопрос очень ясен. Реакционеры с одной стороны, модерантисты и революционеры с другой — различаются между собою существенно противоположностью целей: реакционеры хотят застоя и для того, чтобы сохранить нынешний порядок от прогрессивных реформ, принуждены тянуть ход истории назад; модерантисты и революционеры одинаково хотят прогрессивных реформ и разнятся между собою только в понятии о средствах к успешнейшему их осуществлению. Из такого отношения понятий необходимо следует, что если модерантисты или революционеры становятся союзниками реакционеров, они помогают делу, существенно противоположному их собственным стремлениям, и в результате увидят себя обманутыми. Напротив, реформы, которых желают модерантисты и революционеры, в сущности факта одинаковы и разнятся между собою только процессом своего осуществления; стало быть, результатом союза между модерантистами и революционерами бывает произведение изменений, одинаково нужных обоим союзникам, и спор о способе осуществления сам собою исчезает, когда дело исполнено тем или другим способом.

Таково естественное отношение партий по существенным их стремлениям. Только один союз между модерантистами и революционерами может быть назван существенно-удовлетворительным для обеих соединяющихся партий. Напротив того, если модерантисты или революционеры будут помогать реакционерам, они в результате непременно найдут разочарование или, по выражению императора французов, «разрушение иллюзий», которыми вовлеклись в противоестественный союз.

После этих общих замечаний нам легко видеть, что отношения партий в Италии были совершенно неправильные, несогласные не только с логикою понятий, но и с первым элементарным условием сколько-нибудь правильного хода борьбы. Сардиния была центром, из которого вышло движение последней войны, и потому обратим главное внимание на нее.

Не надобно думать, чтобы сардинские реакционеры (клерикальная партия, или правая сторона палаты депутатов, имевшая своим предводителем графа Соларо делла Маргариту) изменили общему принципу, по которому иностранцы одного и того же политического направления милее соотечественников, держащихся противного направления. Они продолжали и до войны, и во время войны сочувствовать австрийцам, вернейшим приверженцам реакции. В этом клерикальная партия была совершенно логична, и как

бы ни судили мы о ее стремлениях, надобно признать в ее образе действий ловкость и верность расчета. Революционеры также держали верность принципу во время войны: они говорили, что не могут присоединиться к делу, в котором главною силою, действующею против австрийцев, является бонапартизм, который имеет те же самые стремления, как и австрийская политика; но модерантисты, — или, по итальянскому своему названию, конституционная или пьемонтская партия, имевшая своим предводителем графа Кавура, — действовали иначе. Они против Австрии, то есть реакции, вздумали опереться на бонапартизм, то есть на ту же самую реакцию, и пренебрегли основным правилом политической тактики, по которому одинаковые партии во всех странах взаимно поддерживают друг друга и, несмотря ни на какие случайные столкновения, не могут желать вреда одна другой. По этому правилу бонапартизм никак не может сделать вреда Австрии, чего хотела пьемонтская партия. Он мог на время, по случайным своим надобностям, стать с Австриею в формальную вражду, но и во время этой формальной борьбы не мог забыть, что в сущности дело Австрии есть его собственное дело, что, подрывая австрийскую, то есть реакционную силу, он вредил бы самому себе. Потому война между бонапартизмом и Австриею, по существенному характеру и интересу обоих противников, никак не могла иметь иной натуры, как натуры турнира, рыцарского состязания, при котором дерутся вовсе не с намерением повредить друг друга, а только с безвредною для противника мыслью поспорить о том, кто кого сильнее, кто должен занять первое место за дружеским пиром, за который сядут благородные противники тотчас по окончании боя. Пренебрежение этим неизбежным фактом было бы неизвинительно в пьемонтской партии, если бы мы не знали, что за союз с бонапартизмом она схватилась только в крайности. Первоначально она старалась действовать сообразно правилу политической тактики и не щадила никаких жертвований, чтобы найти себе опору в Англии, т. е. также в партии конституционного модерантизма. Для этого она, в угоду англичанам, послала войско в Крым, принесла в жертву несколько тысяч солдат и несколько десятков миллионов денег. Но на Парижском конгрессе Англия нелепым образом сблизилась с Австриею, и тогда бедная пьемонтская партия, покинутая своею естественною союзницею, приняла предложения, делавшиеся ей бонапартизмом. Если бы в политической борьбе возможна была та хладнокровность, с какою ведется шахматная игра, то надобно было бы сказать, что лучше, нежели принимать такую помощь, было повременить, выжидая той поры, когда Англия увидит свою ошибку, если во Франции возьмет верх партия прогресса. Но положение Италии было так тяжело, что трудно произнести над пьемонтскою партиею за эту ошибку приговор с тою строгостью, какой требует грубость ошибки и великость вреда, ею принесенного. Но как бы



то ни было, извинителен или неизвинителен был союз пьемонтской партии с бонапартизмом, он отнял у республиканской партии возможность соединиться в решительную минуту с конституционалистами. Обыкновенно говорят, что Маццини в своем [республиканском] фанатизме не хочет признавать ничего хорошего в людях иначе, как на том условии, чтобы они совершенно приняли его идеи. [Трудно понять, как могут верить такой непрактичной нетерпимости его люди, которые в то же время толкуют о его чрезвычайной хитрости, умении пользоваться всем для своих целей. Во всяком случае], кто хотя несколько знаком с историею этого агитатора, тот знает, что постоянно, повсюду он искал союзников, не останавливаясь никакими разногласиями, лишь бы нашлось соответствие в одном — в желании освободить Италию. Он обращался с этою надеждою и к папе, и к Карлу-Альберту, и, наконец, он стал удерживать свою партию от подобных надежд и союзов только потому, что увидел ошибочность своей собственной прежней мысли о пользе их для действительного освобождения Италии.

Таким образом, в Италии даже не успели образоваться два лагеря, — осталось целых три враждебных лагеря по невозможности соединения маццинистов, не веривших бонапартизму, с пьемонтскою партией, основавшею на нем свои надежды.

Теперь граф Кавур пал<sup>3</sup>, и те люди, мнение которых изменяется сообразно с успехом или неудачею, конечно, находят теперь большую легкость порицать ошибки этого государственного деятеля, которому недавно поклонялись. Мы не восхищались политикою графа Кавура, когда счастье было, повидимому, на его стороне, зато теперь не станем осыпать его упреками. Напротив, мы скажем в оправдание ему, что слишком легко было ему, человеку замечательного ума, рассчитывать на свое умственное превосходство над союзником [которого он видел человеком, лишенным всяких блестящих качеств, лишенным даже живой сообразительности, тупым, ненаходчивым на слова, почти бездарным]. Он мог вообразить, что будет держать этого человека в руках, делает его орудием своих целей. Это было очень естественно. Не в упрек Кавуру, а в объяснение факта мы заметим, что он тут забыл только одно: инстинкт эгоизма так ловок и расчетлив, что человек, руководящийся исключительно им, может перехитрить какого угодно гениального министра [хотя бы сам был решительно туп. Собакевич обманул бы самого Маккиавелли].

С самого начала Кавур холодною и молчаливостью своего союзника был введен в ту ошибку, что вообразил, будто бы только он нуждается в Наполеоне III, между тем как, в сущности, сам император французов гораздо больше нуждался в нем. В начале года, когда шли в газетах толки о конгрессе и разных дипломатических посредничествах, от которых ожидали предотвращения войны, мы несколько раз подробно излагали факты,

делавшие для императора французов войну необходимостью. Желавшие могут найти их в наших прежних обозрениях.

Война в Италии, безотлагательная война, потому что каждая ночь, каждый день до ее объявления грозит опасностями, — такова была потребность Наполеона III. Но он не говорил об этом, держал себя холодно; потому Кавур стал думать, что нужно всяческими уступками склонять его к войне. В сущности, Кавур мог диктовать условия союза, потому что Франция не могла провозгласить намерения освобождать Италию от австрийцев иначе, как опираясь на Сардинию. Положим, Кавуру также была нужна война, но у него не было необходимости начинать ее тотчас же, непременно в нынешнюю весну: он мог подождать и год, и два, как ждал шесть или семь лет. Для Наполеона отсрочка была невозможна. Но Кавур в горячности своего патриотизма думал, что союзник оказывает Сардинии великодушную помощь, склоняемый красноречием и умом его, Кавура, к делу, в котором сам не имеет надобности. Таким образом, Сардиния бросилась в войну, не гарантировав ничем свободы своих действий подле союзника, подавлявшего ее громадностью своих сил.

Но какими же способами можно было гарантировать независимость сардинской политики? Разве неизвестно, что никакие обещания не гарантируют против превосходства силы? Так, обещания ненадежны, и в том именно и заключалась ошибка, что Сардиния ограничилась ими. Нужно было принять другие меры для ограждения своей самостоятельности. Во-первых, французским войскам надобно было назначить театр действий, различный от театра действий сардинской армии, так, чтобы она составляла совершенно отдельное целое; во-вторых, нужно было оговорить, что внутренние вопросы в Тоскане, Парме, Модене, легатствах не должны нисколько относиться до французов. То и другое, и все что угодно, Наполеон принял бы: Кавур мог тогда предложить ему какие угодно условия союза. А он, напротив, считал себя благодетельствованным, принимая помощь без всяких гарантий. Ему гарантии казались невозможны, потому что он не замечал, что война Наполеону III нужнее, нежели ему самому; они казались ему не нужны, потому что он считал помощь следствием великодушия Наполеона III и своего влияния на него, то есть делом, которое Наполеон будет и по доброй воле вести сообразно его видам: они казались ему излишни, потому что он, надеясь на свое умственное превосходство, воображал, что будет управлять Наполеоном III.

При таком безусловном вверении хода и характера войны Наполеону III, при отдаче сардинской армии в распоряжение Наполеона III война необходима должна была иметь конец в том роде, какой действительно получила. Это было с самого начала ясно для всех проницательных публицистов, и мы тогда же передавали их предсказания читателю. Спрашивается: кто был причиною

безусловно владычествующего положения, занятого в ней Наполеоном III? Кто призвал его в Италию? Кто отдал ему в команду сардинскую армию и все другие итальянские войска? Кто не принял никаких предосторожностей для доставления итальянцам влияния на решение их судьбы? Пьемонтская партия, модерантисты и глава их — граф Кавур. Наполеон III только воспользовался данным ему от них положением сообразно с своими видами: что тут особенного, если человек заботится о своих выгодах, и за что тут винить его? «Смотри, кому в руки отдаешься» и «не сваливай свою вину на другого», сказали бы мы графу Кавуру и его приверженцам, если бы они, бедные, не заслуживали теперь скорее сострадания, чем гнева.

А гнева они заслуживали своею непредусмотрительностью, которая отозвалась теперь, по выражению Наполеона III, «разрушением благородных надежд». «Но, скажет иной читатель, кто же мог предполагать такую измену? Кто мог ожидать, что союзник соединится с врагами против друзей?»

После предыдущих объяснений нам легко отвечать на это возражение, основывающееся только на запутанности понятий, истинное отношение которых мы старались показать. Да, только из запутанности понятий проистекали все обвинения Наполеона III в измене друзьям. Кто смотрит на вещи правильно, тот не станет винить в таких пустяках императора французов, а, напротив, скажет, что он поступил совершенно так, как ему следовало поступить по тем принципам, постоянным защитником которых он был.

Припомним разделение общества на три партии и взглянем на то, к каким из них принадлежат император французов, австрийское правительство и граф Кавур.

Владычество бонапартизма во Франции основано на реакции. Австрия — также представительница реакции. Из этого ясно, что существенные интересы бонапартизма и Австрии одинаковы, что эти силы должны поддерживать одна другую, что ослабление одной из них грозит опасностью и для другой. Конечно, и между самыми родственными элементами могут возникать случайные столкновения, но взаимный интерес требует как можно скорее прекращать их, чтобы дружно противиться общему врагу.

Кто не упускал из виду этого основного факта, — одинаковости между существенными интересами бонапартизма и Австрии, — тот очень хорошо видел, что считать Наполеона III врагом Австрии значило совершенно не понимать его. Таким образом, оказывается клеветой та часть обвинения, которая возникает из расположения Наполеона как можно скорее заключить мир с Австриею и притом на самых выгоднейших для нее условиях.

Остается другая часть обвинения: «он изменил выгодам своих друзей, сардинцев». Читатель видит, что тут слово «друзья» так

же несправедливо, как и слово «враги» относительно австрийцев. В самом деле, кто такой был Кавур, на чем была основана его сила, к чему стремилась его партия? Партия, вошедшая в союз с Наполеоном через Кавура, была, как всем известно, партия приверженцев конституционного устройства. Теперь спрашивается: кому неизвестны отношения Наполеона III к конституционному принципу? Конституционалисты — злейшие враги бонапартизма; он держится только подавлением их. Каким же образом злейших врагов называть друзьями? Прискорбная необходимость могла заставить Наполеона III принять на время содействие, предлагавшееся ему итальянскими конституционалистами, но коренная, непримиримая враждебность этих двух элементов оставалась неизгладима, и Наполеон III был бы просто нерасчетлив, если бы забыл о ней. Он хорошо чувствовал, что служить Кавуру значило бы усиливать конституционную партию в Италии, а усиливать ее в Италии значило бы оживлять ее во Франции, то есть вредить самому себе. Такого безрассудства не следовало и ожидать от [правителя], хорошо понимающего свое положение и умеющего соблюдать свои выгоды. Потому-то проникательные публицисты с самого начала и говорили, что цели Кавура не могут быть целями Луи-Наполеона. Просим читателя припомнить выписки из английских речей и статей в прежних наших обзорах.

После этого нет нужды распространяться о совершенной неуместности неблагоприятного термина «изменник», которым многие характеризуют тот очень натуральный факт, что Наполеон III заключил отдельный мир с Австриею против выгоды и воли сардинцев. «Измена», «предательство» — какие грубые, [плебейские] понятия! Понятие «предательства» не должно существовать в уме светского человека, а тем более в уме дипломата, и кто позволяет себе жаловаться на предательство, тот обнаруживает только собственную неприготовленность к ведению важных дел. На самом деле история была самая невинная. Положим, например, что вы хотите ехать из Рязани в Петербург, а я — в Москву; вам известно, что дальше Москвы я не поеду; но вам угодно было иметь меня своим спутником. Теперь спрашиваю вас: если, доехав до Москвы, я останусь там и предоставляю вам продолжать путь, как вы сами знаете, или остаться в Москве, когда вы не можете ехать одни, — если я сделаю это, неужели вы имеете право называть меня изменником? У вас, быть может, [плебейские] понятия; быть может, вы, зная, что мне нужно быть только в Москве, вынудили у меня какое-нибудь двусмысленное слово, что я охотно побывал бы и в Петербурге, и поверили этому слову, — ну, что ж мне из того? Какой же практический человек верит словам? Мало ли что говорят, так вот всему вы и станете верить? Вы должны расчеты ваши основывать на том, что мне нужно, а не <на> том, что я говорю; иначе вы на каждом шагу будете оставаться в проигрыше... Но, поверьте мне, никого вы не назы-

вайте за это изменником, а называйте только сами себя слишком наивным простяком, а лучше всего постарайтесь отучиться от вашей плебейской наивности.

Луи-Наполеон не притворялся каким-нибудь конституционалистом; он не скрывал своего принципа, принципа реакции; он не скрывал своей непримиримой враждебности к конституционализму. Теперь — итальянским конституционалистам было угодно вручить ему свою судьбу. Я спрашиваю: состояние открытой вражды, в которой он находится с конституционалистами, не уполномочивало ли его воспользоваться ослеплением врагов, чтобы запутать их в их собственные сети? Да, Кавур всегда был врагом ему, потому что был конституционным министром, главою партии, единомышленники которой во Франции — смертельные ненавистники Луи-Наполеона. С какой же поры военная ловкость, пользующаяся ошибками неприятеля, стала называться изменою? Поверьте, ведь недаром же говорится у французов: «à la guerre, comme à la guerre», на войне по-военному и делается.

Не знаем, до какой степени удалось нам убедить читателя, что император французов поступил очень естественно, заключив отдельный мир с Австриею на самых выгодных для нее и самых невыгодных для Италии условиях, и что винить его тут ровно не за что. Нам кажется, что логика нашего оправдания неопровержима. Вот оно вкратце.

Итальянская независимость составляет предмет желания для итальянских революционеров (Маццини) и конституционалистов или модерантистов (граф Кавур и пьемонтская партия). Партия итальянских реакционеров смертельно боится освобождения Италии. Австрия — представительница принципа реакции. Бонапартизм держится реакциею. Элементы реакции, модерантизма и революции разлиты по всем странам Западной Европы, и падение или усиление какого-нибудь из этих элементов в одной стране непременно облегчает подобную перемену во всех других странах. Поэтому усилие конституционной партии в Италии, — а исполнить ее желание, освободить Италию, значило бы усилить ее, — необходимо вело к усилению конституционной партии в самой Франции. Ослабление Австрии также вело бы к ослаблению реакции во Франции. То и другое было бы равнозначительно гибели бонапартизма. Итак, ясно было, что Наполеон III, принужденный вести войну в Италии, должен употребить все свои усилия на то, чтобы покончить эту войну таким миром, который не освобождал бы Италию, не был бы вреден могуществу австрийцев, с которыми прочные и существенные интересы у него одинаковы, и не принес бы пользы итальянским конституционалистам, помощью которых он мог воспользоваться на минуту, по одному случайному делу, но партия которых находится по своей натуре в смертельном противоречии с условиями его собственного существования.

Кажется, это просто и неопровержимо. А если действительно так, то надобно сознаться, что все обвинения против Наполеона III за Виллафранкский мир — пустые фразы, порождаемые только непониманием сущности бонапартизма. Наполеон III поступил сообразно требованию своего жизненного принципа, пожертвовав своими врагами — сардинцами своим друзьям — австрийцам.

Но если мы находим, что, действительно, война, в которой главным деятелем был Наполеон III, не могла привести ни к чему иному, кроме Виллафранкского мира, и если император французов поступил при заключении этого мира совершенно последовательно и основательно с своей точки зрения, то само собою разумеется, что мы вовсе не намерены скрывать неудовольствия, пробужденного условиями этого мира в людях и партиях, имеющих принципы неодинаковые с бонапартизмом. Напротив, именно с того мы и начали, что упомянули об этом недовольстве, объясняя им неточности в изложении фактов и побуждений, склонивших к миру императора французов, по его словам. Нашедши теперь истинную причину выгодных для Австрии условий договора, мы подробнее займемся впечатлением, какое он произвел в различных странах.

Англичан упрекали в холодности к итальянскому вопросу за ту недоверчивость, с которою они смотрели на войну. Действительно, война была неприятна им, потому что не обещала ничего, кроме побед Наполеона III, то есть увеличения его могущества и утверждения его в мысли, что он может счастливо приводить к концу какую угодно войну. Они думают, что все это может приблизить минуту, когда он вздумает объявить, что должен отомстить Англии за своего дядю. Но негодование, овладевшее английскою публикою при известии о Виллафранкском мире, показало, как велико сочувствие англичан к делу итальянской независимости (просим читателя не забывать, что мы говорим об английской публике, а не об английском правительстве, — эти два понятия далеко не одинаковы даже и в приложении к Англии). Сожаление о бедной Италии пересилило в них даже радость о том, что уменьшилась опасность для них самих быть запутанными в разорительную войну. В пример мы приводим статью, которою встретил известие о мире Times\*.

«Мир последовал за перемирием быстрее, нежели даже можно было предполагать. Великий волшебник нашего века дал три битвы и поговорил час времени с побежденною Австриею, и вот, в конце этой короткой конфе-

---

\* Просим читателей не приписывать нам несколько саркастического тона, каким английская газета отзывалась о Наполеоне III; наше мнение о действиях французского императора мы высказали достаточно выше, а настоящую статью переводим только для показания, какое впечатление произвел в Англии Виллафранкский мир.



ренции, Ломбардия вдруг уступлена Франции, и Италия становится конфедерацией под почетным председательством папы. Перемены так быстры, что рывали в глазах. Не успели мы уловить черты картины, представляющейся нашему зрению, а предмет уже исчез и на месте его явился другой. Несколько недель тому назад мы рассуждали о конгрессе для предотвращения войны. Недели тому назад свет толковал о шансах для Австрии успешно бороться против Франции. Период битв прошел. Грозный четырехугольник крепостей поглотил соборные мысли. Но вчера исчезли все размышления и догадки об армиях, всякое внимание к пушкам, и явились на свет два новые государства, созданные в несколько часов, вошедшие в знакомство с публикою сотрясанием телеграфной проволоки. «Император австрийский уступает королевство Ломбардское императору французам». Итак, Австрия совершенно выбита из колеи своего старинного упорства. Пескьера и Верона, Мантуя и Леньяно, линия Адидже и венецианские лагуны — все покинуто, все уступлено... Франц-Иосиф [прямодушно и без оговорок признает себя, по выражению мистера Кобдена, «согнутым в дугу». Он] немедленно уходит из Италии с 300.000 своих солдат, и Италия, освобожденная от этого давления, преобразуется в независимое государство. Как мы покажемся теперь свету с такими новостями на наших широких листах? Что теперь скажет Times в защиту своих благородных подозрений? Как нам извиниться перед столь жестоко оклеветанным императором французам? С каким лицом встретить нам теперь торжество и презрение друзей свободы, предостерегать которых имели мы малодушие? Униженное отречение одно только остается нам. Соединимся же с радикалами Англии, карбонари Италии и великим политическим оракулом Венгрии\* в воспеании славы Наполеона III! \*\* Забудем мы, последние из прозелитов и едва ли достойные назваться прозелитами, — забудем со стыдом все наши благородные опасения и возрадуемся теперь, когда Италия, и не на одних словах, а на самом деле, стала свободна от Альп до Адриатического моря!

Но — погодите! В этом потоке телеграфических депеш, в этом сонме быстрых известий, приносящихся со всех сторон света и соединяющих в себе отголоски всех европейских столиц, есть звуки, дисгармонирующие с всеобщей радостью. Что значит это новое известие? Что это за горькая капля, от которой пропадает пенистое кипение энтузиазма, охлаждаются наши теплые симпатии? Италия должна быть свободна, потому что так говорит император французам, — а кто, кроме неверующего, благородного Times'a, колеблется

\* Кошут. — Ред.

\*\* Здесь сарказм Times'a неверен. Английские радикалы не ожидали ничего хорошего от войны. Читатель может вспомнить речь Робака и отчет самого Times'a о митинге по итальянскому вопросу в Гайд-Парке («Современник» 1859, № V). Мадзинисты также не одобряли Кавура за союз с Наполеоном III и говорили, что поспешное образование народных войск, не зависящих ни от Франции, ни от Кавура, одно может спасти Италию, судьбу которой предрекали. Кошут не выхвалял Наполеона III и долго, упорно не соглашался на его предложение содействовать венгерскому восстанию, и когда, наконец, решился на это, то полагался не на его уверения, а на то, что австрийских войск в Венгрии оставалось мало. Читатель вспомнит его слова («Современник» 1859, № VI). «Венгрия так далека от Франции, что ее нельзя обратить во французские департаменты» — кажется, это выражение мало свидетельствует о вере в императора французам. Мадзини, Кошут и английские радикалы говорили только одно: Англия не должна вступаться за Австрию. Times, у которой были иногда порывы воинственности, — впрочем, не из любви к Австрии, а из опасения замыслов Наполеона против Германии и самой Англии, — сердится на всех этих людей за противоречие ее воззваниям о необходимости самых энергических вооружений, которые неминуемо вовлекли бы Англию в войну, если бы война продлилась хоть до следующей весны.

верить императору? Но это воцарение папы, это восстановление великого герцога Тосканского, это оставление Венеции и Минчио за Австрию, — всем этим видоизменяется первое известие, пришедшее от императора французов. Да, Италия свободна, но она свободна не в демократическом, не в конституционном, не в обыкновенном смысле, а в наполеоновском смысле слова. Свобода — слово, принимаемое в разных значениях, и часто цвет его заимствуется от оттенка интересов человека, его употребляющего. Свобода в Спарте не значила того, чтобы илоты не были убиваемы, когда становились слишком многочисленны или беспокойны. Свобода в Италии не значит, чтобы жители Италии имели какой-нибудь голос в своем управлении. Италия свободна, но свободна на французско-императорских условиях. Ломбардия, завоеванная Францией, отдается королю сардинскому. Никто не может сказать, что Ломбардия не свободна. Она могла иметь свои понятия о восстановлении прежнего герцогства как самостоятельного государства и Милан может иметь возражения против того, чтобы стать уделом Турина; но с нынешнего времени Ломбардии лучше молчать об этих сумасбродствах. Она свободна и должна быть довольна. Венеция также свободна. Она свободна под австрийским господством. Чего же больше может она хотеть? Наверное, она не имеет сумасбродства мечтать о временах Дандоло! Или Венеция недовольна? Так она не знает, что такое свобода, как понимает ее Наполеон. Но пусть она потише говорит о своем безумном недовольстве. Только кусок Ломбардии передан Сардинии: «Ломбардия до линии Минчио». Между «линией» Минчио и Венециею текут две большие реки в По, и земля, орошаемая этими реками, усеяна первоклассными крепостями. Это старинные австрийские железные ворота, через которые Австрия входила в Италию, когда хотела. Это [логовище] австрийского деспотизма, [в которое уходил] он каждый раз, когда была опасность в равнинах. Отсюда он мог высылать десятки тысяч своих солдат для подавления каждого признака недовольства в самом зародыше. Вы, свободные сардинские ломбардцы, наслаждающиеся свободой под тенью западных стен этих великих крепостей, и вы, освобожденные венецианцы, которые можете, обрабатывая свои земли на материке, любоваться на пушки, смотрящие с их восточных бастийонов, не ведите слишком громко своих свободных речей. Эта земля также свободна. Она лежит между Альпами и Адриатическим морем, стало быть, непременно она свободна. Она разделяет с Венециею честь быть свободной под австрийским господством. Но она свободна, как чисто австрийское владение, как аванпост Тироля, подобно ножу врезающийся в тело Северной Италии. Она попрежнему наполнена войсками и оружием, и из нее армии могут быть посланы по железным дорогам и в несколько часов быть в Милане или Венеции. Австрия еще владеет и по трактату будет продолжать владеть этим страшным четырехугольником. Потому в этих городах лучше потише говорить о новоприобретенной свободе и шопотом поздравлять друг друга с достославным совершением обещания [их покровителя, императора французов, выгнать австрийцев из Италии и] освободить ее от Альп до Адриатического моря. Тоскана и Модена также свободны. Они свободны собственным своим делом, потому что изгнали своих герцогов и послали к императору Наполеону половину своих молодых людей волонтерами. Свободные граждане Тосканы и Модены сражались против своих изгнанных государей при Сольферино и помогали императору Наполеону победить их. Это было ошибкою с обеих сторон. Истинная свобода, за которую сражались тосканцы и моденцы, состоит в том, чтобы принять обратно своих прежних правителей, и если бы герцоги понимали свою настоящую выгоду, они были бы не в лагере австрийского императора, а во французском лагере. Гиппиас возвращается в Афины, — свобода Афин нуждается в его восстановлении.

«Гуэтли \* утверждает, что половина ссор на свете происходит от невнимания к законам логики: люди не думают об определениях. В этом причина

\* Автор знаменитых исследований о законах мышления.

разноречия, разделявшего нас с людьми, сочувствовавшими итальянской войне. Если бы они определили, что такое разумели под свободой Италии, и определили в том смысле, какой мы видим ныне, мы никогда не усомнились бы в намерении Луи-Наполеона дать свободу Италии. Не доходя до чрезвычайности в нашей симпатии к Италии, мы должны, однако же, признаться, что если бы мы послали лорда Страффорда или лорда Кларендона на конгресс — сделать для Италии, что может сделать для нее Англия, и если бы лорд Страффорд или лорд Кларендон возвратился, размахивая шляпою и восклицая «Италия свободна!», и оказалось бы, что он оставил австрийцев в Пескере, в Мантуе и в Венеции и силою возвратил герцогов в Тоскану и Модену, и что это называет он свободой Италии, — мы почувствовали бы большое искушение громко потребовать, чтобы лорд Страффорд или лорд Кларендон был предан суду, как изменник. Если бы мы знали, что таковы были желания г. Кошута и бирмингэмских джентльменов\* и других поклонников императора Наполеона, то мы, кажется, могли бы вытребовать у Австрии исполнение их желаний, не усеивая Италию трупами и не наполняя госпиталей бедными изуродованными солдатами. Во всем этом нет ничего такого, чего бы нельзя было вынудить у Австрии силою дипломатии. Все это не может оскорблять ее гордости и значительно увеличивает ее силу. Она избавлена от хлопот управлять беспокойною и убыточною провинциею и удерживает силу опустошать ее, когда только захочет. Она теперь стоит в Италии, как меч-рыба подле кита. Австрия — вся покрыта оружием, Италия вся — добыча ей. Австрия уступила только то, что может, когда ей угодно, взять назад, чего, вероятно, не захочет она и брать назад. Сардиния приобрела провинцию, которую может сохранять только по милости Австрии и которую в случае нападения не может защитить. Когда австрийские сатрапы будут восстановлены в Тоскане и Модене, сама Австрия будет стоять вооруженная с ног до головы, непреодолимо господствующая в итальянской конфедерации. Австрия будет в Италии так сильна, как никогда еще не была. Если бы Англия имела бесстыдство предложить ей такие условия до начала войны, Австрия бы могла бы отказать в них, и тогда 100,000 человек остались бы живы, а Италия не меньше нынешнего была бы «свободна от Альп до Адриатического моря». Таковы бывают последствия, когда люди не соглашаются между собою в смысле слов, ими употребляемых. Но мы в оправдание себя должны заметить, что мы не одни ошибались. Тот человек, который лучше всех в Европе должен был бы понимать императора Наполеона, тот человек, который лучше всех знает итальянский вопрос, тот человек, которого Италия прославляла, как лучшего своего государственного деятеля, как лучшего своего защитника, — граф Кавур, — подобно нам ошибался. Свободная Италия, о которой думал он, была нимало не похожа на ту свободную Италию, которую изобрели император французов с императором австрийским, — и с гневом он удалился с высокого поста, который столь долго занимал, не находя в себе сил выдерживать укоризны тех, надежды которых возбудил и негодования которых так справедливо он должен опасаться».

Если с такою силою охватило негодование англичан, людей, называемых холодными и, во всяком случае, бывших посторонними этому делу, то легко представить себе, как закипели злобою французы, именем и оружием которых так жестоко воспользовались для подобного мира. Взрыв чувства был так силен, что даже между газетами нашлись некоторые, отважившиеся под при-

---

\* То есть Брайта и манчестерской школы. Читатель припомнит, что говорили мы в прежнем примечании о их доверии к намерениям Наполеона: они только требовали, чтобы Англия не помогала Австрии.

крытием общего говора выразить свое мнение несколько внятным голосом. Особенно едкую форму придал своему протесту *Siècle*, газета умеренных республиканцев, служившая органом тем близоруким надеждам, которые были столь внезапно для легковверных разрушены условиями мира. В тот день, когда пришла в Париж телеграфическая депеша о мире, *Siècle* поместил горячую статью, которая перечисляла, как неправдоподобные слухи, все действительные условия мира и после каждого из них прибавляла: «нет, такого условия не будет, потому что оно было бы бесстыдно, бесславно, бесчестно». Затем следовал пробел, а за пробелом короткие и холодные слова: «предыдущая статья была уже написана, когда телеграфическая депеша известила нас об условиях мира; вот они» — и читатель видел, что мир имеет все те условия, которые за несколько строк пред тем были объявлены невозможными по беспримерной бесчестности. Даже из полуофициальных газет, состоящих на подкупе у правительства, не все отважились на первый раз вымолвить обязанное свое слово в похвалу мирному договору.

В парижском населении условия мира вызвали сцены, напоминавшие о временах давно запрещенных. По улицам стояли толпы народа, громко выражая свое негодование. В Сент-Антуанском предместье блузники подняли страшный шум, так что потребовалось вмешательство полиции. Объявления, содержавшие телеграфическую депешу об условиях трактата, были срываемы со стен, сожигаемы на позорных кострах. И не одно парижское население, не одни безоружные, охраняемые артиллериею фортов и казарм блузники были раздражены: что гораздо хуже, это чувство волновало и армию, подвиги которой послужили к тому, чтобы подвергнуть Италию такой судьбе. Солдаты ходили с ругательствами по лагерю, офицеры ломали шпаги, говоря, что они обесчещены...

Иной либерал, привыкший принимать свои желания за факты и два месяца тому назад предвидевший неизбежность освобождения Италии Наполеоном III, теперь, пожалуй, вообразит, что это неудовольствие опасно для власти Наполеона III, и, назвав его предателем, прибавит с сладкою уверенностью, что близко наказание ему за предательство. Мы никак не можем назвать основательным и этого предсказания. Мало ли чем, мало ли сколько раз бывают недовольны [нации! Если бы каждое неудовольствие нации влекло за собою падение правительства, возбудившего неудовольствие, история не была бы похожа на ту историю, какую мы теперь видим]. Против Наполеона III сильное неудовольствие существует уже много лет, а он все-таки продолжает держаться на своем месте, и если можно сказать, что с каждым годом неудовольствие растет, то нельзя еще сказать наверно, чтобы невозможно было ему длиться и расти еще довольно долго, не производя никакого внешнего результата; и если развязка итальянской войны Виллафранкским миром придала новую зна-

чительную дозу гнева к прежним причинам неудовольствия, то из этого еще не следует, чтобы нельзя было Наполеону III приискать и новых клапанов для выпуска паров, грозящих его системе. Уже говорят, что он готовится к войне на Рейне — едва ли это достоверно, по крайней мере, относительно настоящей минуты; но то не подлежит сомнению, что он не замедлит приискать новые дипломатические разногласия и потом выведет из них новые какие-нибудь военные столкновения, для того чтобы снова отвлечь внимание французов от вопросов о внутренних правительственных формах.

Точно то же надобно сказать и о надеждах на исправление условий Виллафранкского мира силою негодования самих итальянцев. Само собою разумеется, что в Италии неудовольствие еще во сто раз жарче, нежели во Франции, — но что ж из того? Читатель уже мог убедиться фактами, каким забавным самооболащиванием были слухи, разнесшиеся в первые дни по заключении мира, будто бы Гарибальди не хочет слагать оружия, будто бы король сардинский хочет не покоряться трактату, столь убийственному для него по содержанию, столь оскорбительному по презрению к Сардинии, которое ознаменовало форму его заключения. Надемся, читатель понимает, что не меньше, нежели в этих слухах, находится забавного, ребяческого простодушия и в надежде на силу тех фактов неудовольствия и волнения, которые совершились в разных итальянских городах при получении известий о заключении мира. Без всякого сомнения, король сардинский глубоко оскорблен. Не спросясь его, заключили мир, как будто он был лишен всякой самостоятельности. Вместо всей Ломбардии, Венеции, Тосканы, Пармы и Модены, которые были у него уже, можно сказать, в руках, ему позволили приобрести только часть Ломбардии, да и ту дали ему таким унижительным образом, что, кажется, лучше он согласился бы вовсе не брать этого милостивого подарка от великодушного союзника, если бы только мог отважиться на отказ. Но что ж из того? Именно в том и дело, что король сардинский, 100.000 солдат которого раздроблены между 300.000 солдат императора французов, не смеет и подумать о непослушании великодушному и, что гораздо важнее, слишком могущественному союзнику. Гарибальди, конечно, раздражен еще гораздо глубже, нежели король сардинский. Но у Гарибальди только 10.000 солдат, и хотя каждый из них стоит пятерых, все-таки сопротивление было бы гибельным сумасбродством. А если Гарибальди и сам король сардинский не могут не повиноваться необходимости, выражаемой цифрою 300.000 французских штыков, то смешно и говорить о той возможности поддержать свои желания, противные условиям мира, какую имеют жители Тосканы, Модены и легатств. Они могут кипеть каким угодно негодованием, могут принимать какие им угодно решения, — на это им полная воля в те немногие дни, какие нужны для передвижения французских



войск с бывшего театра войны к их областям. А когда войска подойдут, они должны будут, волею или неволею, успокоиться. Никакой расчет не позволяет им и делать попытку к сопротивлению; а если благородный патриотизм заставит их жертвовать жизнью в безнадежном сопротивлении для сохранения чести, это будет иметь своим результатом только гибель отважных защитников, преданных итальянской независимости. Мы надеемся, что не найдется между нашими читателями такого неопытного в житейских делах, который захотел бы повторять вопрос разных газет: «Но кто же будет усмирять итальянцев, если они в Тоскане, в Модене, в легатствах скажут, что оружием готовы защищать приобретенную независимость? Неужели дозволит австрийцам в Италии снова подавлять вооруженною рукою все попытки к реформе в областях, куда они не имеют права входить? Неужели французы, через два месяца после того, как называли себя защитниками итальянской свободы, решатся штыками усмирять тех итальянцев, которые поверили им?» — Какое наивное «неужели»! Без всякого сомнения, если французы найдут нужным, они не только дозволит, но и прямо поручат австрийцам усмирить легатства и другие папские области. Без всякого сомнения, они сами усмирят штыками тосканцев и моденцев, если эти несчастные вздумают действительно противиться восстановлению того порядка дел, какой был у них до начала войны. А может быть, — это еще лучше, — французы прикажут сардинцам исполнить за них эту [кровавую полицейскую] обязанность, и если вздумают приказать, вы увидите, что сардинцы должны будут исполнить приказание.

Таким образом, негодование, овладевшее всеми итальянцами, и приготовления их противиться исполнению условий Виллафранкского мира в тех странах, которые должны утратить свободу, приобретенную в то время, пока освободители Италии, французы, были заняты войною в долине По, — эти приготовления могут иметь только одно значение: значение свидетельства, что патриотизм и благородство обязывают иногда людей жертвовать своею жизнью для спасения если не свободы, то, по крайней мере, для спасения чести и славы своего мужества. С грустным [благоговением], как смотрели мы на подвиги волонтеров Гарибальди, смотрим мы теперь на приготовления жителей Тосканы, Модены и легатств противиться исполнению судьбы, предназначенной для них Виллафранкским трактатом. Мы изложим здесь то, что известно до сих пор о благородных и единодушных усилиях итальянских патриотов отстоять свою независимость, — усилиях, которым, без сомнения, не суждено увенчаться успехом.

Тоскана, Модена и Парма, услышав о том, что решено относительно их судьбы в Виллафранке, востребовались: исчезли все мелкие несогласия в их населении, исчезли все слишком справедливые их неудовольствия против легковерной и слабой политики сардинского министерства, давшего связать себя необдуманно



союзом; как один человек, жители Тосканы и Модены решили принять все, какие только могут, меры для того, чтобы отстоять хотя первый шаг к созданию итальянского единства, отстоять хотя свое соединение с Сардиниею, которая выдавала их в то время, пока можно было еще сделать что-нибудь с успехом. Тосканцы послали приказание своим войскам, увиденным французами в Северную Италию, как можно скорее возвратиться для защиты родины от французов и восстанавливаемого ими великого герцога; они объявили, что он может быть возвращен к ним только военным насилием и что они присоединяются к Сардинии; они назначили как можно скорее произвести выборы конституционного тосканского собрания, которое облекло бы эту волю тосканского народа в правильную форму.

Тосканский «Монитор», призывая тосканцев к выборам, говорил между прочим: «Ничего не может быть важнее этих выборов для народа. Здесь дело идет о том, чтобы сказать Европе: мы не хотим, мы не можем более хотеть австрийской династии: мы не хотим ее, потому что она противна итальянской национальности, за которую мы бились при Сольферино; мы не можем хотеть ее, потому что если бы она возвратилась, обагренная кровью сольферинской, то могла бы только составить вечное несчастье наше и возмутить навсегда мир всей Италии. Итак, вы видите, какое важное значение имеет голос, который вы теперь должны подать! Кто поступит при этом легкомысленно, тот — или глупец, или предатель».

В то же время обнародована была прокламация к войскам тосканским, которым поручалась теперь «защита священнейшего права Тосканы, — права свободно выразить свои желания относительно национальной независимости и конституционного устройства». Тосканцы объявили, что будут защищать это право во что бы то ни стало. В сильной статье, помещенной в тосканском «Монитёре» против великого герцога Леопольда, говорилось между прочим: «Да, Тоскана вооружается, и она должна вооружиться, потому что ей предстоит прогнать злейшего врага своего, побежденного при Сольферино, если бы он захотел снова взойти на тосканский престол. Но вооружение еще не значит возмущение, как хотят представить тайные агенты низверженной династии: без всякого восстания Тоскана имеет уже против этого врага вооруженных солдат; у ней есть войско; скоро будет и национальная гвардия. Города должны вооружаться, и когда ударит тревога, жители деревень также должны будут вооружаться всем, что только найдется под рукою во всем населении, которое с презрением отвергает побитого при Сольферино. Пусть знает Европа, что образованный народ, каков народ тосканский, не может потерпеть бесчестия иметь своим монархом того, кто не далее как вчера сражался в лагере австрийского императора против итальянских войск».

Вследствие таких энергических решений, муниципальный совет Флоренции выразил формальным образом следующее желание нации:

«Муниципалитет выражает желание, чтобы Тоскана могла составить часть большого итальянского государства, под властью короля Виктора-Эммануила II, сохранивши административные различия, которые наиболее согласны с интересами этой страны.

«В случае же, если высшие политические соображения воспрепятствуют исполнению этого желания, муниципалитет, настаивая на неприменном исключении династии лотарингской, равно как и бурбонской, выражает желание призвать к управлению страной принца из савойского дома».

Это решение положено повергнуть на усмотрение короля сардинского и императора французского, на согласие которого тосканцы еще надеялись. Тем не менее, они продолжали свое дело: сокративши все установленные законом сроки, они назначили совещания народного собрания, а между тем собирали мнения городских общин. 24 июля из 141 города, в числе которых находятся Флоренция, Ливорно и другие большие города Тосканы, получено выражение желания присоединиться к Сардинии большинством 809 голосов против 15. Решения эти, тотчас же представленные через министра внутренних дел, г. Риказоли, сардинскому чрезвычайному комиссару в Тоскане, выражали интересы и желания 1.135.863 жителей. «Некоторые города, — прибавлено в тосканском журнале, поместившем это известие, — ожидают еще составления особенного собрания для произнесения своего решения; но можно предсказать, что они утвердят решение остальных и что желания Тосканы выразятся единодушно. И нет сомнения, что желания страны, таким образом выраженные и утвержденные национальным собранием, будут приняты во внимание державами, которые должны определить новое устройство Италии».

Эти надежды на то, что голос нации будет уважен, продолжались довольно долго и у некоторых продолжают до сих пор. Сначала они были с особенною силою поддержаны известием, что император Наполеон обещал положительным образом, что не употребит военного насилия для восстановления низверженных государей Италии. Но потом стали ходить другие слухи, которые, однако же, не смутили тосканцев, объявивших, что они «не боятся никакого рода вмешательства и не отстанут от своего решения». Назначены были общие выборы народного собрания 7 августа (26 июля), долженствовавшие окончательно утвердить решение городских общин. Между тем за неделю до начала этих выборов разнесся слух, вскоре оказавшийся справедливым, что Леопольд II отказался от престола в пользу своего сына. Известие это принято было многими очень благоприятно, как облегчавшее развязку итальянского вопроса. Надеялись, что тосканцы, имевшие достаточные причины лично ненавидеть старого герцога, не будут столь несговорчивы в отношении к его сыну. Предпопо-

жение это казалось тем более вероятным, что молодой герцог, как слышно было, намеревался войти в свои владения не иначе, как предшествоваемый конституцией, весьма либеральной. Но тосканцы не поддались и на это: отречение Леопольда ни в чем не изменило их решения относительно лотарингской династии. Во время выборов стены домов во Флоренции покрыты были объявлениями с надписью: «да здравствует Виктор-Эммануил, наш король». Энтузиазм к народному делу не уменьшался, несмотря на то, что Сардиния вела себя в этом деле слишком осторожно и даже робко. Пред началом выборов сардинский чрезвычайный комиссар Буонкомпаньи был отозван из Флоренции, чтобы не подать повода к подозрению в тайном влиянии Сардинии на решение тосканской нации. Временное правительство осталось в руках министра внутренних дел Риказоли. По последним известиям, национальное собрание уже открыто, в присутствии уполномоченных от Англии, Франции, России и Пруссии; президентом собрания избран Тито Коппи. Это избрание считают доказательством умеренности собрания, потому что Коппи не принимал никакого участия в последних политических событиях. Несмотря на эту умеренность, первым делом собрания, по предложению депутата Джинори, было — провозгласить, что лотарингская династия отныне невозможна в Тоскане. Предложение это было принято единодушно всеми 168 голосами собрания при громких рукоплесканиях публики. Вторым предложением, принятым в собрании, было: «тосканская нация твердо решилась — составить часть одного сильного итальянского государства, под конституционным правлением короля Виктора-Эммануила».

Но к чему может повести все это единодушие, вся эта решимость, кроме доставления новых жертв делу итальянского единства, и так уже имевшему столько жертв?<sup>4</sup>

Не в видах французской политики — допустить образование итальянского государства на широких основаниях национальной свободы. Теперь уже нет нужды делать предположения о видах французского императора: посольство графа Резе достаточно объяснило их. Из действий этого посланника видно, что если не возвращение прежнего герцога, то, по крайней мере, всевозможное противодействие делу итальянской независимости решено непоколебимо в уме Луи-Наполеона. Г. Резе начал с того, что уверял все итальянские города, низвергнувшие своих владетелей, в истинном расположении императора и в его дружеской заботливости о судьбе народа. Между тем в то же время во французском «Монитёре» появилась статья, в которой и Леопольду, и Фердинанду придавался титул великого герцога тосканского. Это принято было за нечто вроде *avertissement* а\*,

\* Предостережение. — *Ред.*

адресованного к тосканцам. Вслед за тем сделались известны требования, предложенные г. Резе королю сардинскому. Он требовал: 1) чтобы сардинский комиссар был отозван из Пармы, так, как отозваны уже комиссары из Флоренции, Модены и Болоньи; 2) чтобы затем Сардиния не имела никакого, ни прямого, ни косвенного, влияния на население этих областей и предоставила им самим выразить их желания; 3) чтобы сардинское правительство оказало свое содействие к восстановлению изгнанных принцев. Надобно заметить, что незадолго перед тем почти не сомневались относительно оставления Пармы за Пьемонтом. Сардинское правительство полагало, что так как Парма не была включена в условия Виллафранкского договора, то о восстановлении герцогини не должно быть и речи. Но вышло не то: умолчание Виллафранкского трактата нисколько не стеснило императора французов, когда дело пошло о торжестве порядка над произволом народным. Сардиния должна была согласиться, и графу Пальери, сардинскому чрезвычайному комиссару в Парме, немедленно послан был приказ возвратиться в Турин. Пармские жители были очень огорчены этим и решились представить императору свои желания относительно присоединения к Сардинии: пармский подеста Линати отправился в Париж, чтобы поднести императору постановления пармских общин, требующих присоединения к Сардинии.

Второе требование Резе было также принято Сардиниею беспрекословно. Да, впрочем, оно отзывается даже отчасти придиркою: Сардиния еще ранее этого сама по себе (по крайней мере, так уверяли официально...) отказалась от всякого влияния на выборы; а теперь этого отказа требует от нее французский посланник!

Но третье предложение встретило пока сильное сопротивление в Сардинии. Говорят, что Виктор-Эммануил остался непоколебим в своем решении — не мешать делу итальянской независимости, и отвечал графу Резе с некоторым одушевлением: «я могу не противиться тем распоряжениям, которые вам поручено произвести в итальянских государствах, уже признавших мою власть; я могу оставить собственным силам народы, которым обещался покровительствовать; но никогда в жизни я не протяну руки для того, чтобы помочь войти в Италию врагам народа». Если эти слова действительно были сказаны, они очень хорошо изображают положение сардинского правительства в виду требований своего союзника и благодетеля.

Впрочем, если Сардиния и не согласится участвовать в восстановлении изгнанных герцогов, положение дела мало от того изменится. Луи-Наполеон решил, что итальянскому независимому государству не бывать, и он найдет средства достигнуть своей цели. Французские солдаты, бывшие в Италии, не все еще возвратились... Близ Ливорно давно уже явилась французская

эскадра, которая в случае надобности может бомбардировать этот город, служащий Тоскане одним из главных центров энтузиазма к делу итальянского единства. Решение оставить в Италии 50-тысячную армию уже обнародовано в «Монитёре». А в одно время с известием об открытии национального собрания в Тоскане сделалось известным распоряжение императора об остановке возвращения французских войск из Италии.

Как бы в виде пояснения этих мер, граф Резе положительно объявил Тоскане, что о присоединении ее к Сардинии не может быть и речи. Но, в виде милости, он прибавил, что всякое другое желание нации, выраженное в национальном собрании, может быть принято во внимание при решении судьбы Италии.

Что тут делать тосканцам? Говорят, что они склоняются к мысли предложить власть принцу Наполеону. В этом избрании находят средство примирить враждебные интересы французо-сардинские, так как принц Наполеон, будучи кузеном императора, в то же время, по жене своей, близок и к сардинской династии<sup>5</sup>. Притом же, говорят в утешение себе некоторые тосканцы, фамилия Бонапартов имеет некоторое притяжение на флорентинское происхождение!..

Вследствие ли таких соображений или, скорее, от очевидной безвыходности своего положения, тосканцы начали писать на стенах домов во Флоренции: «Viva Napoleone Jegolamo, re d'Etruria» (да здравствует Иероним-Наполеон, царь Этрурии)<sup>6</sup>. Некоторые газеты уверяют, что император Наполеон и сам принц не согласятся на такое избрание, как весьма деликатные и совестливые люди. Но, с другой стороны, нельзя не вспомнить, что еще до окончания войны говорили о замысле французского правительства — устроить для принца Наполеона какой-нибудь престол в Италии... Во всяком случае, любопытно и то, что народный энтузиазм принужден уже склоняться к результатам, столь приятным для Франции...

После Тосканы едва ли нужно много распространяться о положении Модены, Пармы и Болоньи. Энтузиазм и там проявился не менее сильно и решительно, чем в Тоскане. Тотчас по получении известия о мире в Парме сделана была общая демонстрация в пользу присоединения к Пьемонту; демонстрация эта принята была очень благосклонно пьемонтским губернатором в Парме, объявившим, что король будет ею очень доволен и что относительно присоединения Пармы к Сардинии не может быть никакого сомнения. Но прошло две недели, и Парма оставлена Сардинии; выезд сардинского комиссара произвел весьма неприятное впечатление в Парме; впрочем, она не отказалась от своих требований и отправила адрес за подписью, говорят, 20.000 человек для заявления своих желаний...

В Модене немедленно после того, как узнали о мире, решено было составить корпус национальной гвардии для защиты

страны. Кроме того, объявлено было о формировании корпуса волонтеров, которое тотчас же и началось с большим успехом. В то же время произведена была народная демонстрация в пользу Виктора-Эммануила и против восстановления Франциска V. Составилось множество адресов, подписанных тысячами лиц разных сословий, и вместе с тем издана прокламация, приглашавшая граждан оставаться спокойными и доказать Европе, что их решение серьезно и благоразумно и вовсе не походит на какое-нибудь беспорядочное движение. И действительно, энтузиазм моденцев был тверд и спокоен; вот что, например, писал о нем один из итальянских корреспондентов *Indépendance Belge* Болонне, приезжавший в Модену на один день.

«Болонья, 22 июля.

«Я хотел воспользоваться открытием железной дороги, которая теперь соединяет нас с Моденой, чтобы побывать в этом городе. Я провел там вчерашний вечер и ночь. Только что возвратившись в Болонью, я берусь за перо, спеша рассказать вам впечатления моего путешествия.

«Какой энтузиазм, какая манифестация, какой дух народности, какое единодушие в чувствованиях и в особенности какое непоколебимое решение — скорее умереть, нежели допустить возвращение герцога! Сколько раз я ни заговаривал, в различных местах, о возвращении Франциска V, я постоянно слышал в ответ: *piu!mosto morire* (лучше умереть!), и в тоне этих слов слышалось столько истины...

«Говоря без всяких прикрас, я должен вам сказать, что, проведши несколько часов в Модене, я убедился в нравственной невозможности возвращения герцога, — разве только он будет восстановлен сильною армиею (если подобный образ действий требуется видами европейских держав). Но упрочение его на троне все-таки невозможно, как только эта армия выйдет из Италии.

«Предметом всех разговоров в кафе, на гуляньях, в театрах, в частных собраниях служит здесь уже не возвращение герцога: здесь все мужчины, женщины и дети давно решили, что все пойдут на смерть, чтобы только воспрепятствовать этому; предмет общих разговоров составляет присоединение к Сардинии, которого желает единодушно вся нация. Если это соединение не состоится, жители считают возможною одну только меру — повальное переселение в Сардинию.

«Но, оставляя в стороне выражения воли народной, протестации и адресы, непрерывно возобновляемые, я скажу вам об одном деле, поднятом временным правительством. Дело идет об открытии некоторого рода процесса с Франциском V. Особая комиссия будет наряжена для разыскания в архивах доказательств злоупотреблений власти, совершенных Францисками IV и V, последними принцами из дома Эстов. Эти следственные разыскания будут служить основанием для обвинительного акта герцога пред европейскими державами».

Герцог, однако же, не потерял присутствия духа. По достоверным известиям, он намерен возвратиться в Модену силою. У него в распоряжении находилось, по известию в *Patrie*, до 5.000 человек. По другому известию, герцог моденский, не имеющий недостатка в деньгах, наембовал себе до 7.000 наемников, которых называет «армией Эстов». В Модене считается хорошо вооруженных людей до 10.000, и они твердо решились сопротивляться до последней крайности.



27 (15) июля Фарини, бывший чрезвычайным комиссаром сардинским в Модене, сложил с себя это звание и вслед за тем избран был диктатором. Принявши это избрание, Фарини немедленно объявил, что он намерен приступить к непосредственному созванию народных комиций для рассуждений об установлении правительства, а между тем обещал заботиться об усилении вооружений и вообще военных сил страны.

Вскоре потом обнародованы и правила выборов: избирателями признаны все граждане, достигшие 21 года и умеющие читать и писать; число депутатов — 73.

16 августа и в Модене открылись заседания национального собрания, и Фарини сложил с себя диктатуру. То же самое и в легатствах. Они решили как можно поспешнее формировать свою армию, которая могла бы защитить их от восстановления папского владычества французскими или швейцарскими штыками. Быть может, они и устояли бы против одних швейцарцев, но швейцарцам в случае надобности помогут французы или пошлют помогать австрийцев.

Вообще, папским владениям угрожает еще большая опасность со стороны всех друзей порядка, нежели остальным герцогствам. Вопрос жизни и смерти для легатств — избавление от власти папы, а не присоединение к Сардинии; так ли, иначе ли их бы устроили, — лишь бы отделили от папы, — они были бы довольны. Но именно этого-то и не хочет освободитель Италии, держащий судьбы ее в своих руках... Он так почитает Пия IX, так давно защищает его от самовольства его подданных, так недавно создал для него новую политическую роль — председателя итальянского союза!.. Потерпит ли он отложение некоторых областей от наместника св. Петра, допустит ли он такие беспорядки!.. И действительно, на всякое обнаружение народной воли в легатствах смотрят, как на беспорядки. А между тем неудобольствие здесь сильно и нередко выражается такими манифестациями, которые папское правительство и французские агенты решительно называют мятежными. Вообще, ничего нет легче и удобнее теперь, как исказить характер народного движения, передавая известия о событиях в Италии. Недавно распространился же слух, что в Парме провозглашена красная республика под влиянием маццинистов, и подеста Линати должен был особым объяснением разуверять Европу в этих слухах. В некоторых газетах напечатано даже было, что есть агенты, нарочно подстрекающие итальянцев в различных местностях к буйствам, для того чтобы потом Франция или Австрия имели предлог употребить против них вооруженную силу. Нельзя определить, в какой степени достоверны эти известия; но что они не лишены основания, это доказывается той настойчивостью, с которою временные правительства в Италии убеждают граждан вести себя спокойно и серьезно... В некоторых из итальянских проклама-

ций попадаетея выражение: «чтобы не подать Европе повода к недоверию». Само собою разумеется, что под Европою тут нужно понимать собственно Францию..

Неудовольствие обнаружилось в папских областях, как и во всей Италии, непосредственно после заключения мира. Но здесь оно было сильнее, потому что имело еще некоторые особенные причины. Одна из них состояла в том, что амнистию, названную в условиях мира *всеобщею*, папа объявил подлежащею многим ограничениям и изменениям. Это произвело в Риме такое волнение, что генерал Гойон испугался и счел нужным принять некоторые меры на случай восстания. При этом произошли, разумеется, арестации, продолжавшиеся и потом несколько времени. Между прочим взяты под стражу в Риме два капуцинские монаха, давно уже производившие сношения с главами революционной партии; у них найдено письмо Маццини... Подобного рода тайное движение замечено было в Анконе, вследствие чего с начала июня там и водворены папские войска разных корпусов, занимающиеся непрерывными арестациями. Дошло до того, что запретили ходить по улицам двум человекам рядом и хватали всякого, кто поздно возвращался домой.

Относительно же Романьи, отложившейся от папы во время войны под покровительством сардинцев, прежде всего произошло любопытное объяснение папского правительства с императорским. Папа жаловался, что сардинские войска вошли в его владения, что Виктор-Эммануил послал своего комиссара Масимо-д'Азелио в Болонью, что берсальеры и часть бригады Гави решились даже оказать сопротивление папским войскам, высланным для надлежащего наказания мятежников. В ответ на эту жалобу Луи-Наполеон поручил своему посланнику г. Грамону оправдать пред папою сардинского короля и объяснить, что, принимая военную диктатуру и посылая войска в Церковную область, Виктор-Эммануил имел в виду только направить силы Романьи против Австрии и «предупредить внутренние столкновения, которые легко могли возникнуть, особенно после происшествий в Перуджии»... Папа должен был остаться доволен таким объяснением, которым император французов еще раз доказал ту последовательность своего образа действий, которую мы так подробно защищали.

Но и о легатствах, относительно образа проявления их стремлений, надо сказать то же, что о герцогствах; они постарались о всевозможной осторожности и скромности в выражении своего энтузиазма к делу национальной свободы. Болонья — центр защитников народного дела — показала в этом случае пример благоразумия. Во все время, пока в ней существует временное правление, спокойствие ни разу не было нарушено, хотя и представлялись к тому некоторые поводы. Ни заключение мира, ни сущность его условий, ни внезапное удаление д'Азелио, ото-

званного в Турин, — ничто не вывело болонцев из границ, предписываемых благоразумием. Все было спокойно и шло путем законности. По отъезде д'Азелио власть осталась в руках полковника Филикона, который издал декрет об учреждении в легатствах государственного совета из 15 членов под председательством чрезвычайного комиссара сардинского. Вскоре потом Филикон передал правление этому совету, который избрал главою временного правления полковника Чиприани и пригласил граждан составить национальное собрание, которое бы в законной форме выразило желания нации относительно постоянного правительства. Энергия и деятельность Чиприани оживили ход дел в Болонье: в ожидании национального собрания последовали один за другим адреса против папского правительства, организовались военные силы, устроился национальный заем на сумму трех миллионов франков.

Между тем как составлялись национальные собрания, — и военный энтузиазм с одинаковою силою поддерживался в Италии. В конце июля генерал Меццокапо с частью тосканских войск перешел пограничную линию легатств. Оставивши часть своих сил в Римини, он 1 августа перешел в Форли, каждый день увеличивая свои войска новыми волонтерами. По известиям из Болоньи, в течение одной недели, от 27 июля до 4 августа, армия его возросла от 11.000 до 16.000. Часть войск Меццокапо должна была направиться к Урбино, а другая — к Анконе, чтобы через Абрудские горы перенести революцию в Неаполь. По последним известиям, Гарибальди вышел из сардинской службы и принимает начальство над войсками средней Италии. Патриоты основывают на этом большие надежды. Но благоразумнейшие из них уже и теперь не скрывают, что дело их независимости более нежели сомнительно. Надежды на мирное разрешение дела почти исчезли. Неизвестно, на чем порешил император французов с папою; но известно, что папа, прежде принятия почетного председательства в итальянском союзе, требовал возвращения себе легатств; известно и то, что Наполеон еще прежде обещал папе неприкосновенность его владений...

Последняя надежда для итальянских патриотов осталась в непоколебимом единодушии и верности общему делу, и последние известия все более и более подтверждают слухи о сближении между собою всех восставших областей. Первое известие о выражении сочувствия городов друг другу было около 25 июля, из Пармы. Вот что писал об этом корреспондент *Indépendance Belge*:

«Парма, 25 июля.

«Несколько дней тому назад нам объявили, что многие соседние с нами города, как-то Пиаченца, Модена, Реджио, Болонья, предполагали прислать к нам делегации для засвидетельствования нам их сочувствия. Нечего говорить, что мысль эта принята была здесь с восторгом и что мы считали

истинным праздником для себя это посещение, долженствовавшее соединить за одним столом членов единого семейства, так давно разрозненных.

«Вчера, в воскресенье, с самого утра весь город был на ногах, готовясь достойно встретить своих гостей. Случилось, может быть, не без умысла, что все они явились в одно время с разных концов и вступили в город в числе 1.200 человек. Тотчас начались объятия с повторенными криками «Viva l'Italia!» \*

«Я не в состоянии описать того глубокого впечатления, какое произведено было в сердцах всех этим первым национальным торжеством.

«Члены городского совета, дворянство, высшие чиновники и сам губернатор пармский, граф Пальери — все сошлись на площади Общины, и здесь опять начались объятия при восторженных кликах: «да здравствует Италия! Да здравствует Виктор-Эммануил! Сардинская армия! Франция! Сольферино!»

«Каждый пармский житель овладел тогда одним из гостей, чтобы угостить его. Весь город превратился как будто бы в один большой дом: двери каждого дома, равно как и все общественные и частные заведения, были открыты для всякого.

«Публичный сад назначен был местом для обеда. Но число наших гостей не позволяло усадить их за один стол, как думали сначала; должны были удовольствоваться устройством двадцати столов, на 100 человек каждый. Но и этого не хватило, потому что явились еще новые гости, в числе которых находились солдаты тосканские, сардинские и французские; их присутствие придавало еще более торжественности и трогательности этому празднику. В числе этих солдат оказалось много раненых, и они сделались особенным предметом самых предупредительных попечений со стороны прекрасного пола. Я видел, что дамы, принадлежащие к высшей пармской аристократии, разговаривали с неизвестными солдатами так дружески, как будто это были их братья или сыновья.

«Множество знамен итальянских и французских украшало город; патристические тосты раздавались непрерывно; после обеда, продолжавшегося пять часов, был устроен импровизированный бал; город был блистательно иллюминирован... Гости отправились от нас только на другой день утром.

«За обедом читана была энергическая протестация Пиаченцы против герцогского правительства. Тут же предложены были листы, и можно сказать наверное, что на них подписались все граждане Пармы, громко протестовавшие против возвращения герцогини и ее сына».

Таково было одно из публичных проявлений взаимного сочувствия итальянских городов. Вскоре обнаружились отношения более серьезные. От 31 июля из Флоренции сообщали о предполагаемом союзе между Тосканою и Моденою с целью общими силами отстаивать независимость страны против прежних владетелей, ежели они решатся вступить в страну с вооруженной силой. К этому союзу приглашалась и Болонья; но ее решение сделалось известно только позже. По этому поводу корреспондент *Indépendance Belge* сообщает следующие факты.

«Болонья, 8 августа.

«В нашей флорентинской корреспонденции упомянуто было недавно о проекте военного союза между Тосканою, Моденою и легатствами. Это известие совершенно верно; основания этого проекта были предметом долгих рассуждений; теперь, если мои сведения верны, эти основания приняты всеми правительствами, заинтересованными в деле, и предполагаемый союз близок

\* «Да здравствует Италия!» — Ред.

к осуществлению, благодаря энергии нашего теперешнего правителя — полковника Чиприани.

«Дело идет об общем действии армий трех стран для отпора внешнему нападению, с какой бы стороны оно ни произошло. Таким образом, силы Италии возвысятся до 40.000 войска, и это число будет еще в скором времени увеличено поступлением в армию во Флоренции и особенно в Болонье всех наших соотечественников, возвращающихся из Ломбардии. Эта армия могла бы составить четыре дивизии, в каждой с особой кавалерией и артиллерией, так чтобы каждая могла действовать отдельно везде, где случится надобность.

«Мне известно, что главное начальство над этими армиями предложено генералу Гарибальди и уже принято им; его же усмотрению представлен и план организации войска, сейчас упомянутый мною

«Кстати прибавлю, что виды правительства относительно сосредоточения начальства над войсками в руках Гарибальди были, кажется, неприятны сначала генералу Меццокапо, и он даже просил отставки. Но полковник Чиприани в длинном разговоре, нисколько не стесняя доброй воли генерала касательно отставки, умел рассеять его нерасположение и приобрел в нем себе друга и деятельного помощника. Генерал Меццокапо останется начальником войск в легатствах».

Из всех этих приготовлений ясно, что итальянцы уже начинают понимать свое положение и догадываются, чего им следует ждать от Франции. Они ничего не говорят еще; но самое предположение о возвращении низверженных владетелей с вооруженной силою показывает, что Италия надеется в своих соседях найти скорее врагов, нежели защитников ее национального дела. В самом деле, с чьей же силою возвратится Леопольд или Фердинанд, или Франциск? Конечно, с французской или с австрийской — не иначе. Италия понимает это, но все еще не хочет покориться своей тяжелой участи и готовится к борьбе...

Таким образом, вся средняя Италия решилась противиться исполнению Виллафранкского трактата; но при всем своем энтузиазме, что могли бы сделать эти небольшие области с 4 миллионами населения, лишённые готовых войск, как легатства, или потерпевшие, благодаря французской предусмотрительности, дезорганизацию в своих войсках, как Тоскана? Что могли бы сделать против бесчисленной французской армии эти области, лишённые всех средств к обороне, которая, по страшному неравенству сил, не могла бы быть успешна и при самой полной организации?

Исполнение тех условий Виллафранкского трактата, которые относятся к восстановлению прежнего порядка дел в инсurreкционных областях, не подлежит ни малейшему сомнению: оно опирается на французские [штыки, которые не затруднятся колоть каждого, кто противится воле императора].

Таким образом, в Италии должно восстановиться прежнее состояние дел, кроме одной той перемены, что восточная часть Ломбардии передана императором французов сардинскому королю. Посмотрим же теперь, какой смысл может иметь эта перемена и каковы те итальянские правительства, которые спасены

от погибели, возвращены к новой, более самоуверенной жизни трактатом, за который наивные легковеры, очаровавшиеся войною, обвиняют теперь императора французов, столь полно и основательно защищенного нами от всех порицаний за это дело.

В судьбе восточной Ломбардии, уступленной императором французов королю сардинскому, мы видим новое доказательство в пользу оправдываемого нами дела императора Наполеона III: если мы захотим узнать, сколько выиграла эта часть Ломбардии от присоединения к Сардинии, то убедимся, что остальная часть Ломбардии и Венеции не имеет слишком сильных причин завидовать перемене, которая миновала их.

Если читатель не принадлежит к счастливым, у которых денег «куры не клюют», к счастливым, которые могут постоянно носиться душою в возвышенных сферах чисто идеальных созерцаний о прекрасном всякого рода, от трюфелей до составления собственных картинных галлерей, будучи избавлены хорошим последствием от презренных мыслей о прокормлении семейства, то читатель знает по опыту, что презренные материальные расчеты о куске хлеба, о тяжести налогов и тому подобных пошлостях сильно примешиваются к самым возвышенным чувствам, и, например, с понятием национальной независимости у итальянцев должна была соединяться мысль, что национальное правительство не будет давить их такими ужасными поборами, как давили иноземные [тираны]. [Под опасением показаться людьми, не способными не только иметь, но даже и понимать ничего идеально-благородного, мы отважимся сказать, что национальная независимость, конституционные права, свобода печатного слова и тому подобные вещи главную свою <цену? — Ред.> получают оттого, что служат средствами к обеспечению народу лучшего благосостояния, к облегчению лежащих на нем тягостей, и что масса дорожит ими ровно настолько, насколько они представляются ей способствующими улучшению ее материального быта. Быть может, мы очень низки душою, но] мы положительно уверены, и имеем на то несомненные доказательства, что главным источником ненависти к австрийцам в Ломбардии служили не политические преследования, а обременительность их управления в отношении налогов и поборов всякого рода. Эти фискальные тяготы справедливо казались разорительными, невыносимыми. Что же теперь сделало сардинское правительство в этом отношении с доставшеюся ему частью Ломбардии? — Ровно ничего; все тяжести, мучившие ломбардцев при австрийцах, попрежнему лежат на ломбардцах. Мы не хотим сами говорить об этом, — представляем просто выписку из *Indépendance Belge*, которую нельзя упрекнуть в нерасположении к сардинской политике. Вот что пишет один из корреспондентов *Indépendance Belge* в Италии о той системе управления, которая учреждена теперь сардинским правительством в Ломбардии:



«Из текста декрета о новом правительственном устройстве Ломбардии, посланного вчера мною, вы могли видеть, что в администрации не изменено по возможности ничего; забота была не о том, чтобы придумать возможно наилучшую администрацию, а только о том, чтобы немедленно иметь готовую администрацию. Потому-то только ту перемену и сделали, что удалили множество иностранцев (т. е. не итальянцев), занимавших должности при австрийском правительстве; и сосредоточили управление в руках ответственных лиц с значительною властью, вместо коллегиальных административных мест, бывших таким вредным недостатком при австрийском управлении.

«В финансовой организации страны последовали той же самой системе, как в политической. Вот два декрета, относящиеся к финансовому устройству:

«Виктор-Эммануил и проч. и проч. и проч.

«Сообразно вашему декрету от 8-го числа настоящего месяца, принимая в уважение потребности национальной войны и в силу чрезвычайной власти, данной нам законом 25 апреля текущего года, по предложению нашего совета министров, мы повелели и повелеваем нижеследующее:

«1) Прямые и косвенные налоги, существующие ныне в ломбардских провинциях, впредь до последующих распоряжений удерживаются, исключая постановляемого следующего статьи изменения.

«2) Относящиеся до продажи товаров, принадлежащих к регалиям (*Regia privativa*)\*, до почт, телеграфов и таможен, пошлины, законы и правила, действующие ныне в других частях королевских владений, будут применены к Ломбардии по особенным распоряжениям губернатора.

«По совершении этого уподобления, таможенная линия между Ломбардиею и другими провинциями будет уничтожена.

«Другой декрет определяет, что во время войны пограничные и городские таможи не должны взимать никаких пошлин с товаров, идущих на потребление армии.

«Таким образом, с очень небольшими исключениями, Ломбардия будет управляться ныне по тем же самым формам, какие существовали прежде; ломбардцы будут платить те же самые налоги, как прежде, — и вы увидите странное зрелище, что вещи, бывшие несносными при австрийском правительстве, будут выноситься (и уже выносятся) с охотою при правительстве, которое сами себе избрали. Каждому кажется это натуральцо, и если понадобятся и большие жертвы, они также перенесут их с готовностью».

Итак, для облегчения тех сословий, которые чувствовали тягость австрийских поборов в Ломбардии, не сделано ровно ничего. Мы не сомневаемся в том, что когда-нибудь будут произведены сардинским правительством облегчения налогов в Ломбардии, как будут, конечно, произведены и в самой Сардинии, где налоги также доведены до чрезвычайной обременительности, для поддержания давнишней воинственности. Мы не сомневаемся, что сардинский правительственный принцип при всех своих несовершенствах, при всех современных уклонениях от заботы об облегчении материальной участи народа, все-таки в миллион раз лучше австрийского, который по натуре своей соединен с угнетением народа и в материальном отношении, как основан на угнетении его в нравственном и умственном отношениях, между тем как сардинский принцип существенно принуждает обращаться к улучшению народного быта, хотя бы по временам и уклонялся от

\* Правительственные монополии: соль, табак, порох и пр. — Ред.

этой обязанности по случайным обстоятельствам. Мы только хотим сказать, что нынешняя война была соединена с одним из таких временных забвений об облегчении народных бедствий, что сардинская политика в то время, когда приобрела Ломбардию, была так же недальновидна по финансовой части, так и по дипломатической.

Мы уже говорили, что поселяне Северной Италии далеко не разделяли энтузиазма, с которым желали изгнания австрийцев горожане и высшие сословия. Мы говорили, что причина этой холодности поселян к национальному делу заключается в поземельных отношениях, по которым поселянин, зависимый не прямо от правительства, а от богатого землевладельца, останавливает на этом ближайшем посреднике своей бедности чувство нелюбви, которое уже не доходит до отдаленнейшей и коренной виновницы бедствий — до правительственной системы, принуждающей землевладельца обирать [мужика] для уплаты налогов и с тем вместе защищающей землевладельца в его господстве над [мужиком]. Поселянин знает, что он [страшно] много отдает землевладельцу; о том, что землевладелец [страшно] много из этой добычи должен отдавать правительству, он не знает, не знает и того, что оно не дает возможности ни землевладельцу уменьшить повинности, лежащие на мужике, ни мужику возвыситься до независимости в своих поземельных отношениях. Таким образом, и в Ломбардии поселяне умеют только не любить землевладельцев, не понимая, что должны были бы за все винить австрийское правительство, которое не имело с ними непосредственного дела, а угнетало их только через посредство землевладельцев. Вот подробности об этом положении вещей, найденные нами у того же корреспондента Times'a, которому мы были обязаны описанием войны:

«Справедливость требует сказать, что поселянам (в Ломбардии) нечего было жаловаться на австрийское правительство: в самом деле, вы удивитесь, если я скажу, что, за исключением косвенных налогов по монополиям соли, табаку, по гербовой бумаге и по таможенным пошлинам, поселянин не платит здесь ничего, и прямых налогов никаких на нем не лежало. Все налоги лежат на землевладельце. Большая часть этого округа (северо-восточная часть Ломбардии) состоит из больших имений, владельцы которых почти все живут в городах, только осенью приезжая на несколько недель в свои поместья. Мелкой поземельной собственности, которая обрабатывается самими владельцами, здесь чрезвычайно немного, и почти все поселяне — просто фермеры или работники. Имеющие четырех и больше волов бывают фермерами; фермер получает, сообразно с своими рабочими силами, известный участок земли с домом, который содержится землевладельцем. Фермер делает посев из своих семян и обрабатывает землю; из произведений ему принадлежат две трети, а третья часть отдается владельцу, который, как собственник, должен из этой трети уплачивать тяжелый поземельный налог (prediale). Не имеющие скота нанимаются в годовые работники. Они получают готовый дом со всем обзаведением, известное число волов, сообразно пространству отдаваемого им в обработку земли, соразмерному с числом работников в семье. Весь сбор произведений поступает к землевладельцу, который дает известную

плату деньгами, хлебом, рисом, сеном, вином, дровами и пр. этим своим работникам (bovarii). Едва ли нужно говорить, что и тут поземельный налог уплачивается землевладельцем.

«Шелководство — совсем особое дело. Землевладелец составляет так называемое «общество», società. Каждому семейству дает он известное количество семени шелковичного червя и для прокормления червей назначает соответствующее число шелковичных деревьев. Он дает семье также дом, если она не получила уже дома по фермерству или найму в земледельческую работу у него. Продукт делится поровну между землевладельцем и его компаньоном. Налог платит опять землевладелец, как собственник шелковичных деревьев. Но это еще не все: он должен нести и весь риск, а в последние годы риск в шелководстве был велик. «И знаете, что бывает? — говорит человек, сообщавший мне эти сведения, простодушный, но умный приходский священник, — компаньон приходит к владельцу и говорит: падроне (или, по здешнему выговору, паррон), мне нужно поленты \*, чтобы кормить мою семью. — Вот вам полента, говорит владелец. — Приходит другой и говорит: паррон, мне нужно дров, потому что погода холодная, и черви перемрут, если не топить для них. — Вот вам дрова, говорит владелец. — Опять приходит третий и просит денег заплатить людям, которые обрывают и переносят к червям листья с деревьев, и получает одну или две медные монеты от владельца. Так все и идет, и владелец должен нести сам все издержки производства. Приходит galette, сбор коконов, — и вот тебе! — коконы не сотканы червями: владелец — мало того, что не получил шелку, — он должен еще платить подати, а в придачу пропали даром и дрова, и полента, и деньги».

«Этот очерк несколько объясняет расположение умов ломбардского сельского населения, и показывает, почему поселяне в равнинах до сих пор оставались довольно равнодушны к делу удаления австрийцев. Они только поставляли рекрут да платили косвенные налоги на соль и табак, а кроме того не платили ничего. Подобно сельскому населению в других странах, они не поднялись до идей выше мыслей о еде, питье, [почитании своего деревенского святого], приумножении человеческого рода и смерти. Смешно было бы ожидать от них энтузиазма без предложения им каких-нибудь материальных выгод. С этою целью новое правительство решило сделать значительное понижение в цене соли, надеясь, — и, быть может, не без основания, — приобрести расположение сельского населения в равнинах. В горах, где больше мелких собственников и где, стало быть, карман народа страдает от тяжелой поземельной подати, наложенной австрийским правительством, поселянин так же сильно желает низвержения австрийского правительства, как по всей Ломбардии желают этого высшие классы и горожане».

Таким образом, мы теперь знаем следующие факты: поселяне в Ломбардии не понимали, что австрийцы поддерживали невыгодные для них поземельные отношения и, обременяя землевладельцев налогами, служили истинными виновниками их бедности; но они жили бедно, будучи в совершенной зависимости от землевладельцев, и если желали перемен, то не в правительстве, а в своих поземельных отношениях. Сардинское правительство ничего не сделало и по этому вопросу. Итак, поселяне, не понимавшие, что должны винить за свою бедность австрийцев, не получили причин быть расположенными к сардинцам больше, нежели к австрийцам. Высшие классы и горожане, чувствовавшие австрийское угнетение, не получили облегчений от Сардинии; поселяне, не имевшие ненависти к австрийцам, оставлены в [таком

\* Кукурузная мука. — Ред.

положении, что Австрия, в случае надобности, может повторить в Ломбардии ту проделку, какую сделала в 1846 году в Галиции: если она захочет возвратить себе обладание Ломбардиею и страшно наказать высшие классы и горожан за нелюбовь к себе, ей стоит только обещать реформы в поземельных отношениях ломбардским поселянам, и они восстанут для страшного истребления землевладельцев, как было в Галиции] <sup>8</sup>.

Теперь читатель видит, почему мы, сказав в начале статьи, что в каждой западно-европейской нации существуют две основы разделения на партии — материальные отношения и политические потребности, говорили потом только о трех партиях, возникающих из разногласия в политических стремлениях, не упоминая о четвертом отделе, состоящем из массы народа, которая равнодушна к понятиям реакции, модерантизма и политического революционерства и носит в себе только недовольство чисто материальными отношениями известного порядка вещей. Эта темная, почти немая, почти мертвая в обыкновенные времена масса не играет роли в нынешних итальянских событиях, как не играет и в большей части других политических дел Западной Европы. Глухие, немые стремления этой массы так непохожи на исторические стремления друзей реформы в образованных сословиях, что модерантисты никогда и даже революционеры очень редко отваживаются прямо опираться на удовлетворение этим стремлениям, и масса, не находя в их программах соответствия с своими мыслями, остается обыкновенно равнодушна к реформаторам; мало того, она даже обыкновенно имеет расположение проникаться нелюбовью к ним, досадою на них за то, что в общественной тишине, доставляющей ежедневное скудное пропитание массе, реформаторские партии производят нарушение для целей, не кажущихся достаточно благотворными для массы. [Уж если не будет аграрных законов и перемены в отношениях труда к капиталу, думает масса, то лучше пусть продолжают хотя спокойствие, застой, дающий мне хотя какое-нибудь пропитание. Зачем мне оставаться без работы, чтобы получить вещи, которыми не улучшится мое положение, и не получить реформ, выгоды которых для меня были бы ощутительны? Да, читатель, в этом факте истинное объяснение всего хода событий новой истории в Западной Европе. Громадная сила, которая принадлежит массе, сила непреодолимая, оставляется без участия в стремлении к реформам, потому что реформаторские партии, — не только модерантисты, но и большая часть революционеров, — не отваживаются открыто внести в свои программы тех преобразований, которые нужны массе, — обыкновенно эти партии даже не знают о существовании таких стремлений в массе или, по крайней мере, не понимают, что одни они, одни перевороты в материальных отношениях по владению землею, по зависимости труда от капитала, драгоценны для массы. И масса остается] равнодушна к реформа-

торам, не видит в их деле своего дела, масса даже предается в руки reactionеров, которые, по крайней мере, обещаются охранять внешний порядок, дающий массе насущный скудный хлеб ежедневным трудом...<sup>9</sup>

Так было и в Италии. Сардиния, Ломбардия, Венеция, Тоскана, Парма и Модена, легатства — эти земли вместе имеют более 15 миллионов населения; какая армия в состоянии бороться против 15 миллионов людей? Пошлите против них хотя миллион солдат, и тысячи человек из этого миллиона не возвратятся на родину, [все будут сокрушены силою народного ополчения, растают перед гневом народа, «как воск тает перед лицом огня».] Но где же в Италии было участие массы? Действовали образованные сословия да некоторые классы горожан, то есть горсть людей, только сотни тысяч, а остальные четырнадцать с половиною миллионов, покинутые без внимания к их потребностям предводителями движения, равнодушно смотрели на это движение к целям, не затрогивавших бедных потребностей бедной массы — их поселян и городских простолюдинов, и говорили: «пусть разделяются между собою, как знают, это не наше дело: о нас никто не заботится, нам никто не желает пользы, — что же нам-то хлопотать о них?» [Итак, оставалась горсть образованных людей, не позаботившихся поставить за собою массу народа против сотен тысяч штыков — чего тут ждать для этих образованных людей и их стремлений? Они должны погибнуть, они сами себя обрекли на темницы, на изгнание, на ссылку, плаху и виселицу, став против страшной физической силы армий без опоры на еще более страшную силу массы. Разумеется, мы говорим собственно только об итальянском вопросе и более ни о чем; потому мы можем сделать вывод очень простой и короткий: итальянские люди, желающие реформ и свободы, знайте, что достигнуть ваших целей, победить реакцию и обскурантизм вы можете, только усвоив себе стремления массы ваших бедных темных соотечественников поселян и городских простолюдинов. Или примите в ваши программы аграрные перевороты, или вперед знайте, что вы обречены на погибель от реакции.]

Да, — это мы видим теперь, — страшная судьба ждет патриотов Италии. Каковы бы ни были правительства, ими низвергнутые, прежние гонения будут ничтожны перед мщением, которому подвергнутся образованные классы от реставрации. Тоскана, Парма, Модена долго будут доставлять газетам материалы для пошлых, глупых филиппик против жестокостей реакции, как будто бы реакция может обходиться без крутых [мстительных] средств!.. [и как будто не содействовали воскрешению реакции все они, кричащие люди, когда одобряли намерение произвести освобождение Италии иначе, как силою самой массы итальянского населения, когда забывали о ее желаниях, о средствах заинтересовать ее в национальном деле, когда ободряли горсть образованных

стать в своем слабом одиночестве против бесчисленных штыков Австрии и искать защиты против них не в своем народе, а в союзе с иноземною реакцией. Казни, ссылки, пытки, тюрьмы — в этих словах будет история всей Италии в ближайшие месяцы. Что будет в ней] делаться восстановленными правительствами, можем мы знать по примеру, который дало папское правительство в Перуджии.

Мы не возьмем на себя обязанности рассказывать перуджиянское дело, происходившее перед сольферинского битвою; ограничимся выпискою из газеты, которую никто не заподозрит в преувеличении фактов с неблагонамеренною целью. и переводом письма, присланного в Times американцем, который сам был очевидцем подвигов торжествующей реакции. Вот это письмо, из которого Европа впервые узнала о том, как восстановлен был порядок в Перуджии, увлекшейся нечестивыми либеральными наклонностями:

«Флоренция, 25 июня.

«Считаю обязанностью очевидца известить вас о свирепостях, совершенных папским правительством в Перуджии 20 (8) числа нынешнего месяца (июня), когда швейцарские войска после форсированного марша успели вступить в этот город, одолев храброе сопротивление жителей, которые в предыдущий вторник (14—2 июня) мирно, но твердо и единодушно восстали против легата и принудили его с немногочисленными папскими солдатами, бывшими в Перуджии, оставить их город.

«Во всю эту неделю были слухи, что правительство послало из Рима два полка; но телеграф молчал. Горожане составили из себя национальную гвардию, собрали оружие и загородили [баррикадами] ворота св. Петра, находящиеся в конце той улицы, где стоит Hôtel de France, в котором жила я с моим семейством.

«Нас уверяли, что мы будем за несколько часов предупреждены о приближении войск; но они шли день и ночь проселочными дорогами, не проходя ни через один город, стоящий на обыкновенной дороге, так что совершенно неожиданно явились под стенами города и перелезли через них.

«Они требовали покорности, но горожане, страдавшие от несправедливости [и тиранства], о которых вы так часто и хорошо говорили Европе, отвечали с твердостью, какую давала им великая надежда, что их груди будут [вторыми баррикадами] против войск.

«Тогда была сделана самая бешеная и, разумеется, успешная атака на иррегулярное и необученное войско горожан; полтора часа непрерывно продолжалась перестрелка у ворот.

[«Разумеется, можно говорить, что всякое правительство, каково бы ни было оно, имеет право удерживать своих подданных в повиновении. Но чтобы в наше время, в цивилизованной Европе с восставшим городом было поступлено так, как поступили бы с ним дикари, — это превосходит все те ожидания, которые можно бы иметь даже от дурных правил римского правительства].

«Солдат гнали к Перуджии день и ночь, выдавая им очень мало пищи; пятеро или шестеро из них умерли на дороге. Прибывши в маленькую деревню близ Santa Maria degli Angeli (около города Ассизи), где они, вероятно, в первый раз выступили на большую дорогу, они вошли в дома и принудили жителей отдать им все вино, какое было в деревне, так что к Перуджии пришли они пьяные, обезумевшие от вина и усталости, [а кроме того, как я после удостоверился, им было обещано отдать город на разграбление!] Как прискорбно, что швейцарцы, [люди свободной страны,] могут на-



ниматься на совершение таких злодейств, — злодейств, говорю я, потому что, вошедши в город, они стали действовать как убийцы. Они входили в дома, стреляли направо и налево в лавки и в дома, и часа через два после начала атаки мы услышали, что они выламывают двери нашего отеля, потом услышали мы выстрелы в доме, хотя хозяин отеля был безоружен, оставался нейтральным и не оказывал никакого сопротивления. У дверей они застрелили двух служителей, кричавших им, что это гостиница. По свирепым крикам и выстрелам узнав, что нам грозит большая опасность, все мы ушли в заднюю комнату во втором этаже; когда бешеные солдаты стали приближаться к ней, мы спрятались в длинный, узкий чулан, в конце которого поставили хозяйку дома, ее мать и одну из служанок. Наше семейство состояло из одного мужчины, четырех женщин и с нами было двое слуг, так что всего 10 человек забились в эту клетку, имевшую не более двух футов ширины. Мы приговаривались к смерти. Прошло десять минут мучительной неизвестности, и солдаты вошли в комнату; отворив дверь чулана, они направили в нее штыки; три раза они грозили нам; они походили на диких зверей. Мы все кричали по-итальянски: «мы американцы, иностранцы...» Одна из дам упала на колени и штык был устремлен на нее, когда сердце одного из швейцарцев смягчилось: он бросился вперед с криком: «стыдно убивать женщин», стал между нами и своими товарищами, помог нам укротить их, уверяя, что мы отдадим все, что у нас есть. Взяв наши часы и бывшие с нами деньги, они ушли из комнаты. Добрый солдат, Конрад, сказал, что будет защищать нас и что его товарищи обезумели от вина, утомления и голода. Полчаса прошло спокойно; потом мы услышали, что бежит по дому другая толпа; в ту минуту, когда они были готовы ворваться в нашу комнату, добрый солдат, которому мы были обязаны жизнью, вбежал в другую дверь, с криком: «прячьтесь, прячьтесь! в чулан, в чулан!» — и опять мы спрятались на целый час.

«Солдаты совершенно опустошили дом. Они убили хозяина дома (человека безоружного, старавшегося успокоить их) перед тою комнатою, где мы были, и убили его самым жестоким образом. В целом городе совершались убийства. Одному из солдат помешал заколоть штыком двух женщин его товарищ, который боролся с ним, пока женщины убежали к нам.

«Два раза мы должны были возвращаться в наш чулан. До 9 часов солдатам было дано грабить и опустошать город. Между прочим они убили бедного малютку за то, что на него была надета его матерью итальянская кокарда. Они убили семь женщин [и свирепое мнение постигло всех, восставших против папы]. Многие из жителей разорены. В нашем отеле (Hôtel de France) не осталось ни одной целой вещи: столы, стулья, зеркала, — все изломано и разбито в мелкие куски. Наши чемоданы были разломаны, и все из них взято. Потерявши все, мы едва спасли свою жизнь, благодаря нашим паспортам, которые, по счастью, были у меня в кармане: нам было дозволено уехать из города, — города смерти, по улицам которого, когда мы уезжали на другой день поутру, лежали трупы».

А вот и выписка из Journal des Débats, который, как известно, вовсе не расположен [ни сочувствовать никаким возмутителям, ни] чернить охранителей порядка.

«Известно, что вся Романья, многие города маркграфства и некоторые города Умбрии объявили себя в пользу войны за независимость. Движение повсюду имело одинаковый характер. Граждане, самые почтенные по знатности, богатству или личным достоинствам, объявляли легату или делегату, что лучше будет ему удалиться, потому что город решился помогать своими деньгами и силою своих молодых людей войне, которую ведут союзники против австрийцев. Повсюду делегаты удалились без сопротивления.

«Юнты, составлявшиеся из самых почетных людей в каждом городе, немедленно учреждались, и первым их делом было посылать депутатов в

монастыри, коллегии, воспитательные дома иезуитов и других орденов — уверить эти корпорации, что все они могут быть совершенно спокойны за свое существование и свою собственность, что движение имело исключительно народный итальянский характер, а вовсе не характер [социальной] революции.

«Перуджия — самый близкий к Риму из городов, в которых обнаружилось это движение. [Папское] правительство решилось возвратить ее к повиновению. «Римская газета» три дня тому назад (21 июня нового стиля) известила нас, что город покорен и г. полковник Шмидт произведен в генералы за услуги, оказанные при этом деле. Нам очень неприятно, но мы должны сообщить подробности этого покорения. Было послано 1.000 человек тех наемных солдат, которые называются швейцарцами, но, в сущности, состоят из людей всяких наций, особенно из немцев; к ним в Фулины присоединилось несколько карабинеров, — этот корпус назначен быть жандармами, но состоит из грабителей. Присоединили к ним еще несколько рот обыкновенного папского войска, и полковник Шмидт, набрав таким образом до 2.500 человек солдат, явился перед Перуджиею.

На требование сдаться муниципальная юнта отвечала просьбою дать ей несколько часов времени для успокоения особенно горячих людей и принятия нужных мер. Поста, секретарь юнты, пошел в лагерь просить этой отсрочки, перед ним несли белое парламентерское знамя. Едва только вышедши за городские ворота, он упал пораженный шестью пулями. Потом были убиты четыре сына его, и мы слышали, что мать их сошла с ума. В одну минуту ядра разбили ворота, и войска ворвались в предместье св. Петра. Тут было убито 70 человек, множество других ранено, начался грабеж, и солдаты зажгли город. Из монастыря бенедиктинцев было взято 14.000 скуди (21.000 р.). В семействах Темперини, Самптаремси, Таббаconi, Бульдуни почти все были перерезаны, даже маленькие дети. Из комнат, где хотели укрыться эти несчастные, все дорогие вещи и все серебро взяли солдаты.

«Магдалена Темперини, богатая и уважаемая дама, была убита в своей спальне. Ирена Джоя Полидори, модистка, была убита. В Hôtel de France американец, живший с своим семейством... (следуют подробности, которые мы уже знаем из его письма).

«После такой победы город немедленно был подвергнут всей строгости жесточайших военных законов и было велено два дня иллюминировать его. Солдаты были роскошно угощаемы на счет города и стали получать по три паоли<sup>10</sup> в день; на городскую общину была наложена контрибуция в 231.000 франков и на одного из членов юнты, г. Гуардабали, штраф в 107.000 франков.

«У инсургентов было только 80 ружей.

«Вчера (23 июня н. с.) было здесь (в Риме) большое торжество».

Вот еще отрывок из письма корреспондента «Indépendance Belge»:

«Список злодейств, совершенных в Перуджии, слишком длинен. Вот некоторые из них:

«У модистки Серри солдаты ранили или убили восемь девушек и ребенка, которые на коленях умоляли о пощаде.

«В доме г. Лагарини убиты его жена, теща и ребенок.

«В доме табачного купца Франчески убиты штыками в постели больная женщина.

«У г. Темперини взято 2.000 скуди.

«В доме г. Сальватори убиты два служителя.

«Привожу только немногие факты. Не могу упомянуть об одном совершенно оригинальном.

«Между разными монастырями существует вражда. Доминиканские монахи, помогавшие солдатам войти в город, обратили их ярость на монастырь св. Петра, который называли пристанищем маццинистов. Солдаты убили одного из монахов и ранили несколько других».

[Само собою разумеется, что всеми наивными людьми, никак не понимающими условий и натуры реакций, овладело страшное негодование при таких известиях. Но папское правительство, по-слав свое благословение храбрым победителям Перуджини (защитники которой, как мы видели, имели только 80 ружей) и наградив генеральским чином их командира, очень основательно объявило в «Римской газете», что очень глупо поступают люди, удивляющиеся совершившимся в Перуджини фактам, как чему-то необыкновенному, что, напротив, иначе никогда не бывает и не может быть. Мы не судим о том, до какой степени хорошо или дурно резать девушек, детей и больных женщин, но должны признаться, что папское правительство понимает характер своего положения и неизбежные способы своего действия гораздо вернее, нежели те наивные люди, которые удивляются перуджинианским событиями и в своем простодушии даже требуют, чтобы подобных вещей не совершалось. Напротив, мы совершенно убеждены, что «иначе не бывает и быть не может» и что участь, постигнувшая Перуджинию, служит только указанием на судьбу всех остальных восставших против законного правительства городов в Тоскане, Парме, Модене и легатствах.

Неужели же в самом деле невозможно избежать подобной судьбы итальянским патриотам? — спросит иной простодушный человек. Теперь — нет, невозможно, потому что дело уже кончено, судьба их была решена с той минуты, как итальянские либералы, вместо того чтобы искать единственной верной опоры себе в массе своих соотечественников, предали себя во власть иноземному реакционному союзнику. Но они, если захотят, могут извлечь из нынешних событий урок, воспользовавшись которым могут предохранить себя от неудач на следующее время. Наш вывод, само собою разумеется, относится только к итальянцам и ни к кому другому<sup>11</sup>. Вот он:

Либералы (разумеется, в Италии) бессильны против реакционеров, если остаются с одними своими силами, потому что либерализм понятен только образованным людям, стало быть, имеет своими приверженцами только горсть людей по сравнению с массою населения. Эта масса имеет стремления, в сущности одинаковые с желаниями последовательных либералов, у которых либерализм состоит не в одних словах, а в стремлении к важным реформам, и которые могут сообразить, чего хотят, а не повторяют пустые звонкие фразы без понятий в их смысле. Но то, чего хочет масса, гораздо обширнее реформ, которыми могли бы удовлетвориться сами по себе образованные сословия (просим не забывать, что мы говорим собственно только об Италии). Масса хочет коренных изменений в своем материальном быте. Обыкновенно либералы забывают об этой потребности (модерантисты забывают всегда или если помнят, то враждебны ей; революционеры очень часто также упускают из виду материальную сторону

вопроса, слишком занимаясь идеальной или политической стороной), и потому масса остается холодна к ним и продолжает по своей апатии давать реакционерам средства к подавлению либералов (в Италии). Итак, раз навсегда либералы должны рассудить: в состоянии ли они сочувствовать потребностям массы, принять эти потребности в свою программу без всяких оговорок и ограничений, в той самой форме, в какой может удовлетвориться переменами масса. Если нет, если потребности массы (в Италии — коренное изменение отношений труда к капиталу и в особенности поземельных отношений) кажутся либералам несправедливыми или неудободовлетворяемыми, то пусть либералы сидят тихо и молча, потому что без возбуждения энтузиазма к движению в массе движение не может кончиться ничем иным, кроме гибели либералов от торжествующей и мстительной реакции (в Италии, само собою разумеется).]